

Мария БАРЫКОВА



**ИСПЫТАНИЕ
ИМЕНЬЕМ**

Мария Барыкова
Испытание именем

«Автор»

2018

Барыкова М.

Испытание именем / М. Барыкова — «Автор», 2018

Проблемы современного дворянства, проблемы тех людей, за спиной которых стоит долгий ряд чтимых и знаемых предков... Они не в мечтах о возрождении былого величия и не в реституции, а в мучительной боли за свою родину, в осознании вины рода – и соответственно себя самого, ибо в мире нет прошлого и будущего, а есть один непрерываемый поток времени и судьбы – и в горьких размышлениях о том, как могло случиться то, что произошло в 1917 году... Героиня пытается пройти путь многих поколений семьи, и неизвестно, победившей или проигравшей выйдет она из этого путешествия.

© Барыкова М., 2018

© Автор, 2018

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

40

Мария Барыкова

Испытание именем

Моему мужу, сделавшему нашу жизнь – судьбой.

«Семейные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа»

Александр Пушкин

*«Аще требует враг злата – дадите; аще ризу – дадите; аще почести – дадите; аще веру хочет отъяти – мужайтесь всячески...»
(федосеевцы против филипповцев)*

Новости доходили до этого медвежьего уголка Псковского края не раньше, чем через неделю, да и то, если не заболел почтальон и оставалась проходимой дорога. А уж до усадьбы дома, отделенного от деревни ручьем и двумя белыми резными мостиками, и того позже. Дом, покрашенный сиренево-розовой краской, вечерами словно парил над холмом, над ольховыми лесами, прозрачными даже летом, над жалкими полями – и улетал еще дальше по течению реки куда-то к древним эстляндским землям. Но эта призрачность и легкость не мешали дому оставаться вполне земным, долгими весенними вечерами призывно светиться огнями в столовой и гостиной, летом – мерцать свечами и журжжать оживлением голосов на террасе, а зимой – парить серебристым дымком, поднимающимся из широкой трубы. Однако несмотря на все это человеческое тепло, широким потоком текущее с холма в деревню, местные не любили этот дом. Они как-то инстинктивно побаивались его и чуждались. Ночные светляки его лампадок никого не могли заставить забыть, как дом самым непонятным образом остался цел и в жаркие годы революции, и – больше того – в страшное время последней войны. Еще жили в деревне старухи, которые помнили, как прозрачным осенним утром сорок первого года на холм, натужно гудя, поднялся немецкий мотоцикл, из которого затем выпрыгнул сверкающий черной кожей, как латами, немецкий офицер. Однако вместо того, чтобы пинком раскрыть двери, офицер этот снял высокую фуражку и учтиво коснулся рукой в перчатке стекла дверей парадного входа. Стекло в ответ отозвалось чистым пронзительным звуком, пролетевшим над всей деревней и замершим в бескрайних болотах каким-то безотчетным всхлипом. А через десять минут немец вышел из дома с печальной улыбкой на лице, немного постоял на террасе, где ветер пугал его белокурые волосы, и затем, бесшумно скатившись с холма, скрылся в лесу, словно его здесь никогда и не было. И больше, никто не видел здесь ни фашистов, ни даже зверствовавших по всей округе полицаяв. Но это странное событие, спасшее деревню от разорения и гибели, навело на ее жителей не благоговение, а какой-то подлинно мистический страх. Страх перед его странной хозяйкой, бывшей фрейлиной Ее Величества Императрицы Александры Федоровны...

Но это были дела, можно сказать, давно минувшие и мало кому известные. Ныне же у деревни к дому имелись претензии и посвежее, пусть и не столь внушительные. Дому не могли простить ни его постоянных гостей, ни горящих лампад, ни – самое главное – все продолжающейся барской жизни даже через столько лет после революции. Действительно, все его восемь комнат, не считая огромной кухни, увешанной порывевшими фотографиями надменных дам и не изменившегося с тех пор очага, продолжали жить так, словно не проишумели над ними долгие безбожные годы. Все так же в гостиной пел вечерами рояль, в бальной раздавался шелест платьев, в столовой кипели споры за рюмкой хереса, а в портретной понимающим взглядом смотрели со стен темные портреты...

Но эта непонятная, дикая для окружающих жизнь, была самой обыкновенной и естественной для жителей дома: стройной женицины с молодым лицом под седыми волосами и двух подростков. Как и почему они появились в доме, никто толком не знал, просто однажды Елизавета Николаевна вернулась то ли из Пскова, то ли из Ленинграда сначала с крошечной светловолосой девочкой, а спустя несколько месяцев утром на крыльцо вышел и мальчик чуть постарше. Оба сразу стали называть Елизавету Николаевну на английский манер Бетси, говорить ей «ты», а сами отзываются на диковинные имена Ляли и Лодя. Они носили полотняные матросские костюмчики летом, шубки, крытые малиновым бархатом – зимой, и в самой деревне почти не появлялись.

В первые годы все простиравшееся дальше дубовой аллеи, обрывавшейся белыми мостиками, их не интересовало – слишком полна была жизнь внутри дома. Картинки из «Светлячка» и «Тропиночки» вполне заменяли им зрелище утопавших в грязи дорог, ноктюрны Шопена под легкими пальцами Бетси – пение птиц, а теплые шепоты молитв – порывы ветров, всегда зовущих в неизвестную даль. Но так продолжалось лишь до тех пор, пока Лодя не исполнилось восемь. С этого времени Елизавета Николаевна стала посылать его ворошить сено, копать картошку, полоть свеклу, налаживать вместе с деревенскими каждой весной сносимый рекой мост и, вообще, делать все то, что делали, вернувшись из школы, все другие дети деревни. Лодя поначалу сопротивлялся, брезговал, убегал, даже дерзил и притворялся, но Елизавета Николаевна добила своего, ведя мальчика одетой в бархатную перчатку железной рукой. Точно так же она усадила за ноты, пьльцы и кухонный стол Лялю. К удивлению деревни, через сравнительно короткое время Ляля и Лодя научились делать все гораздо ловчей и лучше многочисленного подрастающего деревенского поколения, и руки их при этом не загрубели, и глаза не потухли. К десяти годам детям начали разрешать иногда оставаться в гостиной, особенно когда приезжали гости, и оба с влажными от волнения ладонями, затаившись, как мышата, за креслом-качалкой, слушали – еще мало понимая, но уже много чувствуя. По гостиной разливался ровный, казалось, даже обладавший особенным оранжево-розовым светом, жар от кафельной печи, сверкали медью дверные ручки и маленькие купола чернильниц и песочниц, блестели столеищицы, мерцало лиловое стекло ламп. Дети почти задохались, но тут всегда прохладой ручейка вплетался некий тонкий звон: это спасительница Бетси слегка встряхивала с улыбкой свой бокал, на краю которого висело серебряное, унизанное жемчужом разъемное колечко, с подвеской в виде крохотного серебряного бочонка. И жар на некоторое время унимался, а потом снова окутывал говоривших. Хотелось выскользнуть на темную террасу, остудить взор всегда равнодушной рекой внизу, а чувства – поднимавшейся от нее сыростью. Но выходить ночью на улицу категорически запрещалось, и потому, пока Елизавета Николаевна провозжала гостей, они, устроившись среди досок и старых полушубков черных сеней, шептались и все не могли нашептаться. Через неплотно прикрытую дверь было видно, как ложился на каменные плиты неживой свет фар, после чего слышалось урчание заводимого мотора – это был чужой мир, которого они инстинктивно боялись и желали. В этом чужом мире, воплощаемом для них боролатыми мужчинами в грубовязаных свитерах или строгих костюмах и женицинами в длинных юбках с тонкими сигаретами в изысканных пальцах, говорили не о Диккенсе, не об удивительном урожае яблок, даже не о картинах и музыке, а о «несчастной России». Определение это больно кололо их души, и Лодя, уже успевший в своих деревенских работах ощутить разлитую во всей природе красоту и мощь северного края, все порывался возмутиться и опровергнуть.

– Но почему «несчастливая», Лялька?! – требовал он, блестя в полумраке стальными своими глазами. – Это же сила, силища какая! Я вот вчера видел лося – так он стоял совсем неотличимый от деревьев, как будто из земли вырос, и его не сдвинешь... И я сразу вспомнил, когда летом возили сено, этот Алешика, который за церковью живет, точно так же с вилами стоял – не сдвинешь.

Однако Ляля, всегда видевшая все словно изнутри, с противоположной стороны зеркала, только опускала голову с прямыми и непослушными, как у мальчишки, вихрами.

– А как они собак бьют... Лошадей днями не поят... Цветы топчут... И, знаешь, – она вытянула вперед руку с длинными, фарфорово белеющими пальчиками и долго рассматривала, – они все-таки... корявые какие-то. Правда: корявые и... несчастные.

Лодя, которого неизменно раздражало глупое девчоночье стремление свести все к частности, к мелкому, мгновенно вспыхивал, взъерошивал волосы, и они, как обычно, начинали говорить о другом, каждый оставшись верен своей правде, внешней и внутренней, светлой и темной, явной и скрытой...

Так или приблизительно так я собиралась начать новый роман. Я была в доме одна. Хозяйка, уехавшая на неделю в Иерусалим, как всегда, попросила меня пожить – конечно, не для ублажения редких экскурсантов, но для того, чтобы огонь, теплившийся здесь уже двести с лишним лет, не угасал ни на день.

Стояло то время, когда зеленоватая белизна черемух по канонам модерна уже перешла в лиловость сиреней, чреватую взрывами жасминной пены. За рекой стонали лягушки, неотличимые в эти короткие дни от птиц, и сладострастному дрожанию их надутых горлышек звонко вторили водяные пузыри, предвещавшие дождь.

Дом ревниво стерег мои желания, действия и мысли – конечно, не так, как хозяйкины, но все же вполне принимая меня как свою. Он стучал на кухонном крыльце ногами, шелестел по утрам коврами, и шелест этот был подозрительно похож на звук задевшего за ножку кресла платья, а на закатах совсем томно чем-то звенел в алькове. Я давно научилась относиться к этому правильно: если уж мы сами только веяния чего-то иного, то почему не дать порезвиться слабеющим год от года и век от века дыханиям других?

И в этот приезд мне не нравилось только одно – я сама стала слишком часто думать о смерти; даже не думать, а ощущать ее присутствие в себе, и, пригасив ревнивую настороженность, чувствовала, как самые любимые из ушедших уже готовятся к встрече со мной. Впрочем, это совсем не мешало мне сидеть вечерами за белым столом и неспешно стучать по клавиатуре одним пальцем, тем самым, навеки изуродованным авторучкой и насквозь пропитанным фиолетовыми чернилами – единственным разрешенным нам в школе цветом. И как недалеко казалось от него и до гри-де-леня¹ юбок старухи Яньковой, сразу после бонапартова поражения взявшей к себе Дунечку Барыкову, и до жирофле² каренинских кружев, и до самого томительного оттенка арт нуво, и до грозди венгерской сирени, касавшейся моего плеча. Мир давно стал замкнут – и тем открыт.

Дом ревниво скрипел за спиной, понукая или, наоборот, тормозя повествование, но добился он лишь того, что от теплого, живого и названного, мысли мои незаметно перешли к другому. То был дом-сирота, какие тысячами разбросаны по всей нашей земле, и к которым так болезненно тянется сердце, измученное долгим русским бездомьем. Когда-то он тоже стоял над веселой капризной речкой с мерячьим³ именем Тебза и улыбался всеми своими балкончиками, мезонинчиками, террасками и уж вовсе трудно определяемыми пристройками. Где-то проносились мятежи и войны, а он жил своей неспешной жизнью, отделенный от столиц лесами, водами, несметными выводками тетеревов по весне, дупелей и гаршнепов летом и набравших жир уток – осенью. Дом был счастлив и делал счастливыми своих обитателей, ничуть не завидя блестящим соседям, прожигавшим жизни в балах, философских спорах и блестящих рома-

¹ Розовато-серый цвет (от франц. gris de lin).

² Красновато-фиолетовый оттенок, даваемый пигментом жирофле (сафронины).

³ От названия меря, меряне – древнее финно-угорское племя, проживавшее на территории современных Владимирской, Ярославской, Ивановской, восточной части Московской, восточной части Тверской, части Вологодской и западной части Костромской области.

нах. Впрочем, в последнем он тоже мог бы не ударить в грязь старинными окнами с частой расстекловкой и жарко нагретыми лесенками, но не желал мрачной участи Суходола⁴... Шли годы, рождались дети и умирали старики, а над речкой все стлались русалочьими хороводами туманы, и звезды танцевали в воде, разносившей печальный плач меди сельских колоколов. И сквозь тонкий пар нового романа то и дело виделся мне тот дом-призрак в купах сирени, до сих пор тревожно волнующейся и плещущей под ветрами времен.

Под ближайшим холмом заурчала несатым котом машина – кто-то ехал к дому или на переправу, и я вдруг подумала – почему бы ехавшему в ней не оказаться, например, моим кузеном? Он и действительно собирался сюда вслед за мной, а из семерых братьев, которые, словно в сказке, вдруг объявились у меня, едва я пустилась в бесконечный путь по дорогам родины и рода, этот мой кузен оказался самым близким. Среди ученой моей братии Илья один занимался Бог знает чем, как мальчишка, клеил модельки, явно любил дам и столь же открыто признавался в своем непростительном разгильдяйстве. Но нас с ним гнала в одном круге общая, давно ставшая вязкой и горчащей, старая кровь, от которой остальные как-то избавились, кто браками с инородцами, кто внутренним отречением, кто незнанием, кто просто-напросто ленью. Мы же, как дантовские грешники, плыли в огненной реке, то есть рвались к несбыточному, мечтали о прошлом, а главное, кровно сознавали те грехи и ошибки, что закончились разрушением домов с мезонинами.

Так почему же действительно не появиться сейчас здесь – ну, не сейчас, а минут через шесть-семь – Илье? Сначала послышится эхо ахнувших под ним досок первого моста, потом серебряная голова проплывет в зелени лип, а потом красивые ладони лягут мне на плечи почти так же невесомо и ласково, как ложится сейчас сиреневая кисть. Впрочем, машина сигналила уже под берегом, и пора было возвращаться к Ляле и Лоде.

Я долго думала, где устроить им детскую, все комнаты были уже давно расписаны. Рояльная всегда полна народу, в алькове царит нехороший дух блуда, диванная проходная. Не в бальной же, хотя и балов там уже лет восемьдесят как нет? Вот разве в статистическую? Она, конечно, слишком отделена от всего дома, и когда бушует гроза, а мы ходим вокруг с иконой, до статистической доходим последней. Там страшно, лес так близко, но ведь они уже не такие маленькие, и, наверное, им будет, наоборот, хорошо вдаль от взрослых. Можно неслышно скинуть кованный крюк, сунуть ноги в старые валенки, что холмами лежат за сундуком, и выскользнуть на улицу, где над каменной вазой невиданным букетом расцветает лунный столб, и лиловеющий снег стелется под ноги праздничной скатертью. А если хорошенько прислушаться, можно услышать далекий гудок паровоза у Белой – это подъезжает охотничий царский поезд, значит, уже семь утра...

Да, пожалуй, это было бы самое удобное место, но что-то все-таки мешало мне окончательно определить туда детей. Может быть, название? Я несколько раз произнесла слово вслух, пробуя губами и нёбом. Вроде бы, ничего особо неприятного, кроме суховато-бумажного бухгалтерского привкуса. И все же... Становилось уже совсем по-июньски темно; кротовые холмы в плотных шапках чабреца стали почти черны, беседки не видно, зато намного слышнее река и лес. Нет, надо все-таки пойти и проверить эту комнату прежде, чем я поселю туда моих нервных и впечатлительных подростков. Я бережно, как любящую руку, отвела ветку с плеча, выключила ноутбук и, лишь задвинув поглубже, чтобы он не был виден с подножья лестницы, беспечно оставила его на скамье.

Дом снова заохал, завздыхал, застучал, и я решила прежде, чем пойти в статистическую, дать ему немного успокоиться – такие вторжения с целью переименований, конечно, приятны не могут быть никому, особенно учитывая, что за двести лет дом не обошла ни одна русская беда от обстрелов и обысков до самоубийств и арестов. Я погладила косяк портретной, при-

⁴ Имеются в виду коллизии повести Ивана Бунина «Суходол».

жалась щекой к занавеси алькова и спокойно пошла в кухню выпить давным-давно оставленный кем-то божоле. Устроившись между поставцом и столом, я потягивала вино, пыталась думать о том, что буду писать завтра, и все глупо прислушивалась к дальним звукам, словно поезд и впрямь мог прибыть на маленькую станцию, отмеченную в расписании лишь силуэтом рюмочки, значившим наличие буфета исключительно для дворянского сословия... словно он и впрямь мог быть не только царским, но еще и охотничьим, с предпраздничной суетой в адъютантском вагоне, с предвкушением восторга опасности, алой медвежьей пасти, морозного серебра в рюмке водки... словно и впрямь мог он явить мне моего кузена, в синих лампасных шароварах на длинных ногах, в неслышных сапогах бутылками, чуть пьяного, чуть наглого, чуть влюбленного...

Божоле кончилось, и жизненная необходимость снова явилась, увы, не только в том, чтобы устроить детей, а и в том, чтобы принести дров для утренней растопки, вымыть посуду и обойти дом с традиционной ночной молитвой. Отшуршав, как шелками, березовой корой и отплескавшись, как наяда, тарелками в фарфоровом тазу, я взяла иконку и уже толкнула плечом дверь на черное крыльцо, как вдруг меня охватило то соблазнительное упрямство, которым всегда этот дом был так полон. Я знала, что с ним можно и нужно бороться, но в отсутствие хозяйки искус был слишком велик. А вот не пойду сегодня – и все! А вот не пойду, не пойду – и что ты со мною сделаешь? Не пойду, а потом солгу, что, конечно же, каждый вечер ходила! Лампа замигала и погасла, сразу же впустив в кухню серое марево почувшавшей свою власть июньской ночи. Упрямства мне было тоже не занимать, к тому же, в прошлом над нами всевластен уже один Господь, ничего не вернешь, но и бояться нечего; поставив иконку на место и даже не посмотрев, чья она, я усмехнулась и вышла на кухонное крыльцо.

Под ним, скрытый в зелени и ночи, лепетал ручей, впереди шептались липы, и небо обнимало нас всех. Дом новым ковчегом плыл в потоках отдающей тепло земли и казался одновременно оплотом и макетом, детской игрушкой и материнским лоном, а еще больше – сном о тысячах русских домов, не выстоявших, потерянных, вечно манящих и, наверное, уже недосягаемых. Мне стало стыдно перед ними и ним и, уже не возвращаясь за иконой, я просто медленно пошла по часовой стрелке, молясь за его сохранность и благополучие. Сначала пропал ручей, потом яблони и река тоже скрылись за углом, стала таять каменная ваза, сейчас растворится в пелене и площадка для игры в кьюб, бывшая крокетная, бывший розарий, бывшее... Но площадка мерцала теплым оранжевым светом. Первым делом я, невольный житель двадцать первого века, подумала, что приехавшая денежная молодежь как-нибудь устроила подсветку для игры по ночам, но свет был слишком живым и неровным для техники. Я замерла, спрятавшись за углом, и только, когда на площадку упала быстро промелькнувшая тень, догадалась, что это просто свет из той самой статистической. Значит, это просто дети балуются, уверенные, естественно, что они одни. Ослушников надо было как можно быстрее водворить на место, но для этого требовался ноутбук, так беспечно брошенный на другом конце дома. А пока я за ним сбегая, одуревшие от свободы Ляля с Лодей могут наделать непоправимого, особенно памятуя о пристрастии первой к рискованным экспериментам, а второго – и откровенно к пожарам. Я неслышно отступила в тень, в два прыжка ворвалась в сени и дернула двери, еще успев подумать, что я на их месте непременно заперлась бы.

Но дверь открылась и на меня, едва повернув голову, вскинула глаза маленькая женщина. К счастью, прежде чем сказать что-то, я успела увидеть, что она одета в старинное платье – значит, не грабители и не неожиданные гости. Мы смотрели друг на друга с нескрываемым любопытством, но если в моем присутствии было опасение, то в ее – некоторое разочарование.

– Простите, – решила я и была перебита милым, хотя и несколько суховатым голоском:

– Не стоит так волноваться. Но, как видите, я уже собиралась отойти ко сну. – И, двигаясь так, словно меня и не было, маленькая женщина вытащила из прически несколько шпилек, со звоном рассыпавшихся по дешевому пластмассовому подносу, на который обычно ставили

гостям воду и свечку. Ее тут же скрыла россыпь тяжелых, густых, не по-русски иссиня-черных волос, потом я услышала и стук снятых колец. – Вы не помогли бы мне расстегнуть шнуровку? – послышалось из душного черного облака, запах которого не говорил мне ни о чем и ни с чем не мог даже сравниться.

– Я же не горничная, – ответила я, пересиливая желание рассеять видение, коснувшись его рукой.

– Вы уверены? – полуобернулась она и откровенно смерила меня небольшими блестящими глазами под очень ровными, но неожиданно высоко улетающими к вискам бровями. – Впрочем, кажется, да. Что ж, вспомним институт, – усмехнулась она, и в этой усмешке я на мгновение увидела отражение своей, недавней. Но, кроме упрямства, у нее было еще и какое-то право на властность и эту усмешку. Она гибко изогнулась, медленно потекли одежды, словно давая рассмотреть не очень-то жалюемые мной моды нового, послеубийственного, царствования. Черный собранный шелк, излишек бархата, нелепый турнюр... – Вы, как я понимаю, хотели запереть сюда детей? – неожиданно повернулась она, и я чуть не ахнула от неправдоподобной тонкости талии в зеленоватом корсете.

– Что значит – запереть? Здесь удобней всего, тихо, ведь в доме так часто гости и...

– Во-первых, зачем помещать детей в чужой дом, когда у них есть свой? А во-вторых, они вряд ли того стоят вообще: Всеволод проживет недолго, Ольга – долго, но совсем не так, как вам хочется. – Эти слова были сказаны очень сухо, почти цинично, но необходимо, словно маленькая женщина опять-таки имела на них полное право. – Поверьте, милая, есть более достойные люди, на которых стоит тратить время и... способности. Вы слишком недалеко ищите. – Затем, немного помолчав и полуотвернувшись, грустно сказала. – А теперь спокойной ночи и, будьте любезны, возьмите лампу. – Я только сейчас увидела горевшую на подоконнике керосиновую лампу – медный узор на тонком дутом стекле. А женщина, словно меня и не было, стала расчесывать волосы, каждым движением по-екатеринински вызывая искры и легкое потрескивание. – Да, и еще... – проговорила она, не оборачиваясь, – мечты о кузенах едва ли отличаются от мечтаний о родных братьях. Всего доброго.

Я взяла лампу и вышла. Через две комнаты она уже остыла, а в третьей выскользнула у меня из рук и разбилась...

* * *

Я не стала подбирать осколки, а инстинктивно забилась в самое безопасное место – на защищенный книгами диван в столовой. Хотя мне-то стоило бояться именно их. И странно, в ту ночь я разгадывала совсем не главные загадки, а билась над тем, кем могла быть эта повосточному надменная женщина. Самой первой, а потому давно ставшей мифом, хозяйкой дома? Но костюм видения явно противоречил провинциальным модам века восемнадцатого. Сладострастница Барб? она идеально соответствовала платью? Но эту никогда не заботили ни дети, ни тем более – мораль. Остальные дамы были знакомы мне по портретам, дагерротипам и фотографиям и потому отпадали. Второстепенным же лицам нечего было появляться и вести подобные речи; они могли устроить подобное хозяйке, но не мне. И эта усмешка... усмешка... И духи. Как известно, именно запахи – лучшие погонщики мгновенных всплесков памяти, и, будь со мной сейчас те черные кружева, я, пустив все чувства на волю, через несколько секунд или минут непременно вспомнила бы – если не человека, то ситуацию. Но от видений в руках не остается ни брабансонов, ни духов.

Я забылась уже под утро, в июне так трудно отличаемое от ночи, и полные подборки «Столицы и усадьбы», нависавшие над головой, навевали мне сладкие сны.

Утро всегда делало дом и его обитателей молодыми, нежными, доброжелательными, и осколки лампы светились на полу портретной всего-навсего опаловой лужей. Я смела их и выбросила в печь. Чего только не выдумывает ночами старый дом, капризник и деспот! Ноутбук оставался на месте, и так приятно было открыть его и написать несколько строк в этом младенческом состоянии счастья и неведения. Лодька и Ляля еще спали, и до того, как отправить их в ближайшее урочище – мероприятие, задуманное мной уже несколько дней назад – оставалось время описать прелестное утро во взбитых сливках расцветшей сныти, гусарских султанах чертополоха и клавишных мелодиях колокольчиков. Однако с экрана на меня дохнуло морозным ветром большой воды.

...лучше все-таки начать совсем не так, а неким пассажем про единственное светящееся окно в доме на метельном Александровском проспекте, с одной, светлой стороны которого была тоненькая в китайских шелках и по-китайски покрашенная юная женщина, а с другой, холодной, но, может быть, все-таки менее губельной, – русоволосый и небогатый молодой поручик. И разделяло их не только вычурное стекло, а целых шестьдесят девять лет. И что-то еще мерещилось там, во тьме: кони над Сулою... или нет, кони ржали на ипподромах и в туркестанских степях... или да, кони, красавица-кобыла Шельма какой-то неведомой породы, и опять русский, молодой, мятущийся, непонятным образом соединяющий в себе и женщину, и поручика. И на всем – неизъяснимый налет татарщины. Вот и завязка, и четыре персонажа, и эпоха... и полная неясность идеи. То ли попытка понять себя (читай: судьбу), то ли сохранение прелести жизни для внуков, то ли стремление увязать грядущее с минувшим...

Я верила в откровения и видения, но не верила в то, что они умеют пользоваться компьютером – хотя бы потому, что подобное умение сразу снижало их природу, а, следовательно, истинность. Разумеется, идущие на реку рыбаки могли так пошутить, но имена, но даты... Ах, как просто жить людям рациональным, имеющим стройную картину мироздания! Им кажется, что они знают ответы на все – а если и не знают, то обязательно узнают! – для них нет загадок, и мир вокруг действительно не храм, а мастерская. Мы же, запутавшиеся в теориях, чувствах, ощущениях, словах, мы – беспомощные кутята, но только нам, слепо верящим во все проявления одного, другого, третьего миров и доверчиво таращащим на них свои слепые голубоватые глазенки, открываются порой сгустки настоящей жизни. Но мы бессильны их остановить, неспособны выразить, и только глаза наши с каждым разом становятся все ярче, а улыбки все блаженнее.

Иными словами – я могла верить во все, что угодно, ибо мир воистину бесконечен. Но жалкий разум требовал объяснений вместо того, чтобы принимать его без рассуждений и радоваться.

Я сидела, касаясь лбом экрана, физически пытаюсь слиться с ним, чтобы понять случившееся, а сирень обдала меня росой.

– Интересно, сколько ты собираешься так сидеть?! Я, вообще-то, есть хочу!

И появившийся из-под лестницы Илья обнял меня крепко и нежно.

Разумеется, я рассказала ему все, и он долго, как опытная собака, бродил по дому, приносясь, приглядываясь и трогая. Его обычно подвижное лицо не выражало почти ничего.

– Да не узнаешь ты ни черта, ты же чужой! – не выдержала я.

– Слушай, ну, сколько нас, столбовых, осталось? И сколько бывает тут? Ведь единицы же! Так неужели этот старик не откроет тайну как равный равному?

– Экое у тебя самомнение!

– Да, в конце концов, мы даже старше его! Что тут вообще было, когда мы Казань воевали?!

Илья никогда не скрывал своего удивительного ощущения жизни, заключавшегося в способности вмещать разом и прошлое, и настоящее, и, быть может, даже будущее. Он совершенно естественно чувствовал себя одновременно и нашим предком, отстреливавшимся от французов на екатерининском большаке под Красным (тогда он совершенно натурально возмущался глупостью зарвавшегося Мюрата, ругал непривычные для новобранца гамаша и восхищался краснолицым, генеральски-красивым Неверовским), и сумасшедшим барином, и его верным слугой, и конем, и собакой представителей рода более близких времен. Вся история страны – а мы участвовали почти во всех ее событиях – была его личной историей, и за происходившее пятьсот лет назад он переживал так же, как за вчерашнюю двойку сына.

Поэтому он, конечно, вполне справедливо чувствовал себя старше дома и обижался на него вполне искренно.

– Ладно, оставь! Ты надолго? Если поживешь, он привыкнет, и тогда будет проще. А пока пойдем в роющую, я сделаю королевский меланж на завтрак.

Мы сидели, тянули золотую пену и долго болтали. У нас было мало формально общих тем, зато они в избытке заменялись открытиями общих ощущений, и мы упивались ими, и все дальше уносились в уютной лодчонке древности рода, несшей нас неведомо куда.

И больше всего мы говорили о тяжести груза на наших плечах, в который входила и вина за случившееся почти сто лет назад, и ответственность, и даже унижительное чувство, когда тебя оскорбляет на улице какая-то чернь, а ты не то что не можешь позвать дворника, но даже не можешь объяснить ни ей, ни окружающим, что она чернь, быдло. Впрочем, Илья не любил последнего именованья, полагая, что им заразили нас надменные польские паны, всегда нарочито демонстрировавшие свое презрение к крестьянам.

– Никогда, никогда русский дворянин не мог чувствовать своих людей быдлом! Понимаешь, если у человека есть чувство крови, то оно первое скажет ему, что крестьянин – такой же служилый, как он!

Но Илье было проще – он мог поставить обидчика на место физически, мне же оставалось говорить свою «коронную» фразу: «Мало вас на конюшнях пороли!» Как ни странно, она оскорбляла очень сильно, что удивляло меня еще больше: на что было обижаться этим Иванам не помнящим родства, когда они даже о последней войне ничего не знали? Впрочем, увы, фраза эта с каждым годом производила все меньшее впечатление...

Еще тяжелей было ощущение двойственности, когда в крови своей ты чувствовал и консерватора, и либерала (а то и бомбиста), и помещика, и крестьянина, и красного командира, и белого офицера. Наверное, благодаря именно этому мучительному внутреннему противоречию мы с Ильей ничего и не добились в жизни в отличие от остальных, считавших нас не то ненормальными, не то наивными, не то и просто бестолочью.

– А что это за странное название у той комнаты? – вдруг перебил Илья сам себя, только что наслаждавшегося окончанием удачной охоты под Белой и уже без размышлений бравшего полотно у местной молодухи за немислимую цену в десять рублей серебром.

– Понятия не имею, ты же знаешь, вся бухгалтерия наводит на меня тоску смертную.

– Разумеется. Но ведь та статистика нынешней не чета. Они же все статистики, от Батенькова до Плеханова.

– Нашел статистиков, – ухмыльнулась я, вспоминая судебную бухгалтерию, безуспешно сдаваемую мной в университете восемь раз подряд.

– Именно! Все приличные люди занимались тогда статистикой – наукой, открывающей тайны правлений и бедствий.

– Ты хочешь сказать, что статистика – вещь самая революционная?

– Единственная легально революционная. Прадед ей всю занимался...

Я на мгновение вспомнила властное, правоимеющее лицо в окладе жгуче-черной бороды, склонившееся, правда, не над динамитом, а над конторской книгой собственного завода. Что-

то очень знакомое промелькнуло в насмешливых узких губах, но тут же, ничем не поддержанное, исчезло.

– Знаешь ли, странно, – статистик, а увлекался новым сознанием Бекка⁵.

– А! – Илья махнул рукой. – Во-первых, не новым, а космическим, во-вторых, им слишком многие тогда увлекались, а в-третьих, все те же расчеты, только не в реальности, а в метафизике. Детский сад.

«Очевидность бессмертия в каждом сердце, как дыхание...» – кажется, так было у Бекка.

– Ничего себе детский сад! Особенно по нынешним-то временам! Насколько ты помнишь, чтобы как следует читать эту книгу, надо было знать Шелли, Гете, Гюго, Конта, Карпентьера...

– Еще Бокля вспомни! «Читаете вы Бокля? Не стоит этот Бокль хорошего бинокля, купите-ка бинокль...»⁶ – почти пропел Илья.

Но я не сдавалась: прадед со всей своей деловитостью, позитивизмом и даже расчетливостью все же нравился мне самоуверенностью и страстностью.

– Но помнишь, у того же Бекка есть дивное место о фиолетовом цвете? Ну, о том, что это цвет уже развитого сознания, то есть совсем недавний. Аристотель различал лишь три цвета, Демокрит – четыре, а греки вообще не знали еще синего при всей-то красе их неба, у Гомера, в Ригведе и в Библии нет о нем ни одного упоминания. Там еще что-то о длине волн. Словом, сначала существуют только красный и черный, самые сильные, природные, а фиолетовый появляется на излете, последним. – Я усмехнулась, глядя на свой лиловый сарафанчик и такие же брюки Ильи. – Мы слабые и... последние, Илюша.

Он встал и прижался щекой к щеке.

– А прабабушкины платья помнишь? Просто мы каждый раз – последние. Ты шла бы, поработала.

– А что же мне прикажешь теперь делать с детьми?

– Дети ведь и раньше бывали, и двести лет назад, и пятьсот. Тебе должно быть даже интересней, если пятьсот, правда? Мы все и всегда одно. Давай, не ленись, а я, пожалуй, кроме полотна, еще меду возьму, славный тут мед, ласковый...

Илья потянулся и прижмурился, будто податливые бабы плечи уже плавилась под его руками.

Но кони все-таки ржали, и не хуже их ржали дюжие московиты, с азартом смешивая свою кровь уже почти победивших с горячей черной кровью уже почти побежденных. Последние гортанно кричали, и черные скользкие косы их змеями, которых так много по топким берегам Булака, выскальзывали из жадных рук. Нечай вздохнул и брезгливо поморщился: звуки эти начали доносить его еще с того момента, как удача повернулась лицом к соотечественникам, и лихие набег по близлежащим поселениям стали поставлять в русский лагерь все большие пленниц. Нечай старался жить уединенно, молиться об оставшихся в Чухломе родителях и процветавших до сих пор братьях, а в несчастных вылазках ертаульного полка⁷ – пытаться вытравить из души проклятое заморочное виденье, мучавшее его почти год. Собственно отчасти благодаря ему, срамному этому мороку, младший сын галичского дворянина и оказался здесь, в русском войске, вот уже третий месяц осаждавшем непокорную, в пятый раз обложившую Казань. Дело же было в том, что в минувшие Святки, намахавшись звероподобными личинами и изрядно навалывшись в снегу, Нечай приткнулся на сундуке в жарко натоплен-

⁵ Книга Ричарда Бекка «Космическое сознание», опубликованная в 1901 году – классика паранормальных исследований, основа современных эзотерических штудий.

⁶ Генри Томас Бокль (1821-1862) – английский историк. Здесь приводится строка из стихотворения Некрасова «Балет»

⁷ Ертаул, старинное название авангардных полковых частей в войсках московского государства.

ных сенях отцовского, построенного с боярским размахом дома, и приблизилось ему видение. Девка тощая, в бесстыдно-распахнутых басурманских одеждах с глазами припухло-раско-сыми, но не черными, а серыми, и с грудями маленькими-маленькими, круглыми, как диковинные яблочки атрак из заброшенного сада прадедушки Филимона. Девка и сидела-то по-татарски, неподвижно и надменно, но такая в ней была тоска и одновременно такая бесовская похоть, что Нечай застонал, как от боли. В полубормороке выскочил он во двор, сунул лицо в ласковый, еще не схваченный крещенским морозом снег и на мгновение ему стало страшно. Нельзя сказать, чтобы семнадцатилетний последний старого русского рода и вправду был трусоват, наоборот, он вполне оправдывал свою фамилию и действительно походил на ту лучшую из охотничьих собак, которая отличается от всех прочих непомерно лохматой и длинной шерстью и необычайной нестомчивостью и порывом⁸. Только глаза горели не карим пожаром, а светились сереньким осенним денечком. Псы ходили за ним сворой. Впрочем, Нечая любили не только собаки, но и лошади, и девки, и уж, конечно, родители, к тому времени уже старые и свое отжившие. И страх он испытывал лишь в детстве, когда, бывало, убежали они убивать змей далеко за Галичское озеро, ибо в благословенном крае, где ему выпало родиться, никаких гадов не существовало с тех самых пор, как Сергей Радонежский обвел святой круг, захвативший Галич, Чухлому и Буй. Подрагивающее гладко-блестящее тело гадушки всегда вызывало у мальчика омерзение, на дне которого страх и ненависть каким-то образом сплетались с ощущением дьявольской красоты и недоступного ему высшего знания – и, перебарывая себя, он убивал решительно. Теперь же, касаясь лицом врачующего мягкого снега, он на мгновение испытал то же ощущение, словно разросшееся в десятки или даже сотни раз. Только убить на этот раз полагалось – лишь себя. И от этого было еще страшнее. Впрочем, морок оставил юношу так же внезапно, как и нахлынул. В небе, вселяя надежду, уже сверкали яркие крещенские звезды, сзади теплой твердыней стоял родительский дом, а впереди простиралась Русская земля, молодость, бранное попрание, любовь.

Но стоило миновать крещенским строгим праздникам, как нехорошее видение снова вернулось, пусть не так ярко и соблазнительно, зато более мучительно и неотступно. То в проскоке махом забирающей собаки, то в первом весеннем запахе, а то, страшно сказать, и в укоряющем лице Богородицы. Нечай сначала грустил, потом впал в нездоровое удалство, потом снова затосковал, а к июню объявился Девлет-Гирей воевать Москву, и братья Тимофей и Леонтий, резво шедшие в гору под теплым крылом князя Нохтева-Суздальского, вызвали младшенького к себе. Старики отпустили последнего без особых завываний, ибо еще более страшными казались им словно улетающие порой в небо бездонные его глаза. Под Тулу он уже не успел, зато в Муром, где Иван Васильевич назначил смотр всем войскам, отправлявшимся на Казань, прибыл вовремя и даже сумел попасть в недавно заведенные огненные стрельцы, числом только в три тысячи, вместе с черкасами влившиеся в ертаульный полк князя Андрея Телятевского. Первый раз взяв в руки пицаль и проведя рукой по холодному гладкому стволу, Нечай содрогнулся от сладкого предчувствия, в котором в очередной раз смешались страх, похоть и надежда. Горько-радостно улыбнулась ему полу-сарацинская девка и призывно напряглись ее махонькие тугие груди. Но, словно прочитав что-то в поплывших глазах меньшого, Тимофей грубо вырвал из его рук оружие, кликнул Леонтия и неразлучные Барыковы-старшие двинулись напрямую к княжеской палатке. Нечая же перевели из стрельцов в крепкие конники.

– Оно тебе и привычнее, – буркнул в лохматые усы Тимофей, давно сменивший барыковскую тонкость на мужиковатую кряжистость и оставивший из фамильных отличий лишь неумные космы. Нечай только отрешенно кивнул в ответ.

Была ровно середина лета.

⁸ Фамилия Барыков происходит от слова «барык» (тюркск.) – лохматая, тощая, злобная и долго не устающая собака.

А к середине августа русские уже стояли на Арском поле. Ертаульному полку досталось место за Булаком, грязной, топкой и мелководной речонкой, впадающей в Казанку как раз перед Галичской дорогой и тем самым заставлявшей Нечая еще острее вспоминать родное, мертвенно-сизое, как сабельная сталь, озеро. Впереди сквозь душные болотные испарения маревом высились прекрасные Муралиевы ворота, красоте которых, говорили, подивился сам царь. Но Нечая, с каждым днем все больше истомляемому тяжким своим видением и стоявшей все лето непереносимой для русского человека жарой без единой капли дождя, они начинали казаться частью его морока, а потому таинственными и неприступными. Иногда, выводя лошадей подальше за реку на просторный царев луг, он падал в еще живительные травы и, глядя в яркое нерусское небо, шептал: “Показалось... Казань... наказать”, – и круг замыкался. Но неслышно подходила грациозная Шельма, кобыла, выпестованная им, еще тринадцатилетним отроком, с самого рождения и взятая сюда обманом, лишь благодаря влиятельным братьям, поскольку коней моложе пяти лет ни в каких бранных действиях пользоваться не разрешалось. Лошадь влажно дышала в лицо, терлась черными губами, преданно, любяще, и Нечай вставал, обхватывал ее капризную гордую голову и плакал, потому что было ему всего-то семнадцать лет, потому что с изматывающим свистом летали над лагерем каленые татарские стрелы и потому что, сколько не ходил он поначалу смотреть на пленниц, не мог найти среди коренастых, остро пахнущих смуглых басурманок ту свою бледную и стыдную, ради которой и оказался здесь. “О, премилостивый Господь, Иисусе Христе, Боже наш, услыши меня, молящегося пресвятому имени твоему! Помилуй, Господи, и сохрани раба своего, и благоверного царя нашего, и все христолюбивое воинство, и даруй мне одоление себя, горького! Воздай милость свою за меня, убогого и нищего...” Но теперь он все чаще молил Бога уже не об одолении желания, а о настоящем бое.

Между тем, царь слал в город то сладкие, то грозные письма, черемисы нападали с тыла, осажденные наглухо сидели за стенами и, как могли, поносили оттуда русских, а на Волге затонули от сильного ветра все ладьи с запасами провианта. Ночами звезды горели все нестерпимей, и все нестерпимей становился смрад от семи тысяч черемисов, рядами посаженных на кол, повешенных за ноги и за шеи под казанскими стенами. А в стогах еще умирающих, еще клянущих и призывающих на головы предавших казанцев ту же злогорькую смерть, с ужасом чудился Нечая любострастный стон неведомой сероглазой девки. Впрочем, все это было лишь, если можно так выразиться, второй, лунной или серебряной, половиной юного Барыкова. Первая же, куда менее романтическая, но не менее для него ценная, заключалась и в здоровом молодом удалстве, в присущей тому темному времени жестокости, и даже в склонности принарядиться, несмотря на чудовищную грязь, вонь и все не спадающую жару.

Двадцать девятого августа на Ивана-Постного⁹, когда, как известно, в память о печальном событии русский человек старается не есть никаких круглых и красных предметов, ни резать ножом хлеба, ни даже брать в руки что-нибудь острое, по всему войску пошли слухи о большом приступе. С утра по-за Булачью начали разъезжать наводящие ужас своего слепую силой туры или, как лихо называли их в русском стане, гуляй-поле. Скоро пушки подкатили поближе к стенам и открыли огонь ядрами, размером не только по колено, а и по пояс, и уже начали шептаться, что сам царь ездит по полкам, понуждая и поучая к приступу. Сердце Нечая билось восторгом, искус забыт, и всеми помыслами русского мальчика с его сильной, но еще дремучей и такой печальной душой правило теперь только желание отличиться. Он отложил бахтерец¹⁰, посчитав его недостаточно богато украшенным, поскольку пластины были не то что не с золотой насечкой, а и просто из меди, и с удовольствием достал роскош-

⁹ Имеется в виду праздник усекновения головы Иоанна Предтечи.

¹⁰ Бахтерец – доспех из стальных, железных или медных пластинок, соединенных кольцами в несколько рядов, с разрезами на боках и на плечах и подзором или железной сеткой внизу.

ный светло-лиловый тягилай¹¹, подбитый отличною чухломскою пенькой, подшитый тонкой кольчужной сеткой и простеганный насквозь. На секунду уткнулся носом в рытый бархат¹², в запах июньского луга, матушкиных рук и лампадок. Тягилай был еще ненадеванным. Все остальное уже не доставляло подобного наслаждения; стальной шлем, да белая рубаха, да серые порты – все не расшитое, простое, лишь багряные юфтевые¹³ сапоги и такие же рукавицы еще могли кое-как порадовать. Впрочем, Нечай, нимаго тому не учась и себя не насилая, всегда умел не только обходиться тем, что имел, но и получать от имеющегося настоящую радость. Ему вполне довольно было своей любви к жизни и теплой, домашней веры во Всевышнего. Не то собаки и лошади! Касательно первых – к этому обязывала и сама фамилия; псарни у двоюродного деда славились на всю тульскую сторону; Нечай сам рос вместе с неперевожившимися многочисленными кутятами и давно перестал считать за грех наделять их такой же, как и у себя, душой. Но если собаки внушали ему неизменную любовь, то кони – уважение и трепет. Вот и сейчас он готовил Шельму к бою куда придиричивее, чем себя. Особенно беспокоил его чалдар, конский убор из металлических блях, нашитых на сукно, во-первых, потому что чалдар этот достался ему по наследству и был уже в нескольких местах потерт и порван, а во-вторых – оказался великоват для его невысокой и изящной кобылы. Время приближалось к полудню, а ертаульный полк все еще стоял на месте, не удостоившись до сих пор ни посещения царя, ни посыльного с приказами. Уже давно стало трудно дышать от дымного мрака, восходившего вверх и покрывавшего город и войско, и летний день уже давно стал представляться темной осенней ночью, ежеминутно освещавшейся огнем пушечных и пищальных залпов. Лошади храпели и бесновались, почти неслышимые в многооружном бряцании, свисте стрел, вопле сражающихся и рыдании жен и детей – там, за стенами. На какие-то минуты появился из-под Кебековых ворот, как из преисподней, Леонтий в забрызганном кровью и смолой калантыре¹⁴, и выругался на щегольской наряд брата:

– Ишь, паценок, чего умудрил! Еще рындой¹⁵ оденься! Там таких красавцев больно любят, бьют казанцы с города и из пушек, и из пищалей, и из луков, и кольем, и камнем, а, главное – смерти не боятся, собаки! Всюду отбились. Когда в дело пойдешь, под стенами не плясь больно-то. Налетел – и назад, ежели вперед не получается, а то и сам пропадешь и лошадь загубишь. – Затем хлопнул Нечая по плечу, одобрительно скользнул глазами по исправной амуниции Шельмы и унесся к Царевым воротам, где приступ шел, говорили, уже четвертый день, и раненых была тьма даже и за стенами города...

Я лишь на секунду оторвалась от клавиатуры, чтобы глотнуть холодной воды и избавиться от давно раздражающего горло смрадного запаха паленой человечины. Нужно было спешить, ибо что в мое отсутствие мог наделать мой мятущийся и неопытный в ратном деле юный предок? От таких – я знала по себе – всего можно ожидать; прыгнет в седло и помчится в самое пекло, куда-нибудь к Аталыковым или Мурзалеевым воротам без приказа или, наоборот, уйдет на болота за Булаком и упадет в зеленоватую едкую жижу, обхватив руками неразумную голову.

Я торопливо зачерпнула воды из ведра, мазнула рукой по лицу, убирая гарь, и вдруг в переплеске капель, возвращающихся в свою стихию, мне послышался всхлип. Неужели я действительно опоздала?! Эх, надо было растолкать Илью и попросить занять хотя бы чем-

¹¹ Тегилай (тягилай) – самый дешевый русский доспех XVI в., заимствованный от татар: длиннополый распашной кафтан с высоким стоячим воротником, на толстой, простеганной подбивке, в которую часто вшивали обрывки кольчуг.

¹² Рытый бархат – старинный пушистый бархат с вытисненным узором.

¹³ Юфть – особо мягкая кожа комбинированного дубления, выработанная из шкур крупного рогатого скота.

¹⁴ Колонтырь – доспех из крупных металлических или кожаных пластин.

¹⁵ Рында – оруженосец-телохранитель при великих князьях и царях России XVI–XVII вв. Сопровождали монарха в походах и поездках. Во время дворцовых церемоний стояли в белых парадных одеждах по обе стороны трона с бердышами на плечах.

нибудь нашего полоумного! Я рванулась назад, но всхлип повторился уже гораздо явственней, тоненький детский всхлип безнадежного горя, каким бывает в детстве почти любая обида. Сердце у меня остановилось. Между поставцом и столом, точно там же, где сидела вчера я, белела скрюченная фигурка, и по русым волосам на макушке, по матроске и по шевровым ботиночкам невозможно было определить, мальчик это или девочка. На мгновение и совсем не к месту мне вдруг вспомнилось знаменитое лебядкинское «только вот не помню, мальчик аль девочка»¹⁶ и ощущение... убийства.

– Ляля! – севшим голосом прошептала я.

Фигурка вздрогнула, и от этого импульсивного движения от нее волнами поплыл свет. Какие-то доли секунды я еще надеялась, что сейчас она растает, исчезнет, как ей и положено. Но чуда не случилось. На меня смотрели широко расставленные большие серые глаза под безукоризненно правильным и ясным лбом.

– Я – Лодя.

– Конечно-конечно! – Конечно, Лялька, несмотря на абсолютно такой же, как у Лоди, цвет глаз, была совсем не такая, совсем не ясная, а вся путаная, летящая, капризная, и все-таки единство крови выдавало их точно так же, как и нас с Ильей. Этого невозможно было объяснить словами, но совершенно разные линии лица в конце концов неизбежно складывались в нечто общее, даже в чем-то и совсем одинаковое, по которому я всегда узнаю родную кровь, пусть и в седьмом колене. – Конечно, Лодечка, это ты, кто ж еще? – Я все еще боялась подойти и прижать его к себе, бедного, когда-то в детстве горько мне снившегося, мне все казалось, что он явится каким-нибудь холодным, влажным и скользким, как положено призраку, или, того хуже, руки мои просто провалятся сквозь эту поношенную матроску. – Но где же Ляля?

Он внимательно посмотрел на меня, и в серых глазах я прочитала недоумение. Неужели он серьезно полагал, что создателю известно все?

– Лялька не пошла. Струсила. Сидит там, за сундуком. – Он махнул рукой в сторону статистической. – Лицо его, подтверждая мои опасения, стало совсем белым, мертво-фарфоровым. – Не бросайте нас. Пожалуйста. Не бросайте. Не бросайте...

– С кем это ты? – Илья, весь жаркий от недавнего меда, обнял меня сзади. Я закрыла глаза. Персонажи являются автору – это понятно, виновному – тоже справедливо, но Илья тут решительно не причем. Правда, в Эльсиноре короля видели, кажется, все... И все-таки – еще чуть-чуть, еще полсекундочки, сейчас я решусь и увижу лишь чашку недопитого чая и старый постер с каким-то монастырем... – Эге, какие гости! – И Илья совершенно просто и естественно сделал то, чего боялась сделать я: он отпустил мои плечи и взял мальчишку на руки. – Держи, не бойся, – рассмеялся он мне в лицо, – а я схожу за ней.

– Не надо, я сам, – Лодя вывернулся из рук и встал перед нами, по-старому маленький перед современно высокими. – Вы только не исчезайте.

И это он говорил нам!

Мальчик вышел твердыми спокойными шагами. Я посмотрела на Илью.

– И не надейся. Пойдем, лучше встретим их в рояльной.

Ляля оказалась почти на голову ниже и не в такой же матроске, как мне почему-то представлялось, а в малиновом платьице, вышитом роскошными, разноцветными, объемными бабочками. Впрочем, шелк во многих местах посеялся, и вышивка расплзлась. Взгляд ее припухших глазок из-под крутого, напоминающего барашка лобика был довольно дерзок.

Мы стояли растерянно и молча. Мне было и страшно, и безумно жалко детей, ибо я-то знала, что они сироты, что им предстоит в жизни еще так много ужасов; отчасти, хотя и меньше моего, знал Илья, отчего крупное его лицо стало мягким и грустным. Но самое удивительное, что дети смотрели на нас точно с таким же выражением печали и сострадающего тайного зна-

¹⁶ Имеется в виду монолог Марии Лебядкиной из «Бесов» Достоевского о якобы утопленном ею ребенке.

ния. Зеркало времени бесконечно с обеих сторон, и они несомненно также видели наше грядущее, как мы в их прошлом их будущее. И зеркало было не метафорой: высоко над нами, под углом к потолку, огромная старинная амальгама отражала мужчину и женщину, девочку и мальчика, русых, стройных, сероглазых, и каждому из них казалось, что он видит лишь свое отражение.

– Господи, пятый час, мы тут стоим, а там уже Арские ворота берут! – вдруг крикнул Лодя, и все мы быстро бросились к ноутбуку.

* * *

К счастью, в тот раз мы успели, и, кроме ушибленной ноги Шельмы, которую в давке бесприказной сумятицы лягнул пегий стрелецкий мерин, ничего страшного не произошло. Лодя, как все настоящие русские мальчики знающий множество неожиданных и, на первый взгляд, ненужных вещей, предложил пойти поискать майник-траву, хорошо рассасывающую ушибы.

– Бабушка всегда ее прикладывает велела. Я сам несколько раз ходил с Авдотьей за церковь, к Чернавке...

– Что ты врешь, Лодья! – перебила девочка. – Ландышева сестричка по речным берегам не растет! Она в полумраке, в сырости, в лесу... вот на кладбище еще бывает. Знаешь, где страшного старика склеп. Я сама бабынке приносила, безо всяких Авдотий.

– А где этот склеп? – невинным тоном поинтересовалась я: в свое время мы долго и безуспешно искали его на исчезнувшем кладбище, там рядом должна была быть могила деда.

Но Ляля только недоверчиво и почти презрительно дернула плечиком, отчего бабочки шевельнулись, как живые. И в этом жесте я прочитала ее сомнение в моей принадлежности роду: кто из Барыковых мог не знать склепа их старинного врага, изувера и тирана, помещика Старого Готовцева или, как чаще его называли, Готовцева-Спасского? Им, как когда-то «злым татаровьем» пугали в детстве представителей всех последующих поколений нашего рода. Впрочем, «татаровьем» – то как раз и не пугали в силу того, что тогда стоило только посмотреть на черноволосых, как вороново крыло, бабок и дедов, теток и дядьев, чтобы понять неэтичность подобных страшилок. На рубеже предпоследних веков чернота, державшаяся столько столетий, вдруг разом выдохлась и вернула древнюю русину, затаившись лишь в разрезах глаз и высоте скул.

– Это который в пруду утопил...? – тоже, стараясь быть равнодушным, спросил Илья, но я видела, как блеснули его глаза; кровная вражда, давно непонятно из-за чего, все еще жила в нас.

Дети изумленно переглянулись.

– Да, нет же, – покровительственно снизошел Лодя. – Который жениха в подвале полгода продержал.

– Не жениха, глупый мальчишка, а соседа, что свататься приехал.

– Какая разница, это только вам, девчонкам, важно, сосед, жених, седьмая вода на киселе, – буркнул мальчик. – Все и так знают. Прабабушка эту историю каждые Петровки¹⁷ рассказывала. – И Лодя весьма язвительно изобразил Пелагею Карповну в необъятных шелковых одеждах, в лисьем салопе зимой и летом. Дети держались от нее подальше, а внуки с невестками и даже правнуки воровали шоколадные бомбошки, которые она рассовывала по всему дому в самые неподходящие места. Найти конфетку считалось почти подвигом, но изрядных денег, которые она скопила, продавая собственному мужу лошадей, зерно и даже экипажи, не нашел никто, и пропали они бесследно с ее смертью в год революции.

¹⁷ Петровки или праздник Петра и Павла, начало Петровского поста на 58 день после Пасхи.

И, делая равнодушное лицо, но при этом горячася и даже по-мальчишески захлебываясь, Лодя все-таки повторил премерзкую историю, которой наши враги, впрочем, очень гордились.

– Влюбленный этот, совсем близкий сосед, между прочим, Лермонтов по фамилии и приходящийся нашему знаменитому поэту родственником, поелику Лермонтовы-то не то что костромские, но даже и галичские¹⁸, уже успел подраться на дуэли с женихом и был, между прочим, даже ранен. Но сердце его не успокоилось. Отлежав положенное в постели и узнав, что жених уехал в Петербург по делам отставки, он снова явился к этому, – Лодя, как и Пелагея Карповна да и все остальные, старался не употреблять ненавистного имени, – и снова попросил отдать ему в жены Ольгу Кондратьевну. Тот, конечно, взъярился, как обычно, затопал ногами, забился в припадке гнева, на все высокие слова молодого человека отвечал гнусностями. Может быть, дело и кончилось бы еще одним абшидом¹⁹, но на свою беду Лермонтов произнес роковую фразу: «Жар души моей невыносим!» – Тут Лодя, полностью подражая прабабке, даже автоматически поднес щепоть ко лбу, но передумал. – И тогда изувер мелко подхихикнул: «Ах, непереносим? Так я охлажу тебе его, молодчик!», кликнул двух здоровенных гайдуков и своего приживала. Вечно у них дом был полон всяких приживал, для самоуспокоения своего бесовского держали! «Взять этого шаматона²⁰, – кричит изувер, – да посадить в подвал под караул!» Приживал его и так и сяк отговаривает, ведь Лермонтов дворянин да к тому же и ранен, но все впустую, и посадили несчастного в самый дальний голбец²¹. Приживал опять, отпусти да отпусти, рассудок у молодца потрясен роковой страстью, а поступок твой не есть дворянский. Но ирод и приживала из дома выгнал навеки. А тут родня лермонтовская поднялась в дыбки, полетели депеши в столицу, но все ложились под сукно, поелику и в Петербурге была у него рука. Потом уж и счастливые жених с невестой просить ходили, да бесполезно. И свадьбу уж сыграли, и сатир этот вместо Анны Петровны крепостную девку к себе приблизил... – Тут прабабка всегда чопорно поджимала губы и в знак высшего презрения закатывала большие серые глаза. – Ну, уж матушка царица и выдала ему все да так, что поперед себя пустил он даже нарочного с приказом выпустить бедного юнца. Только за это покарал Господь врага нашего смертью его девки с младенцем. Ну, уж это другая история, милья, идите-ка лучше к Любаше, пусть она вам пряничков даст, сей час распоряжусь... – горько вздохнув, закончил Лодя. Горечь явно относилась к тому, что другая история детям в возрасте Лодя не рассказывалась в силу ее жестокости и, так сказать, неприличности. Я сама помню, с каким нетерпением дожидалась возраста, когда мне эту историю откроют, и я еще сильнее воспылаю негодованием и враждой.

– Ну, наши-то тоже были не сахар, – вздохнул Илья, и все наперебой заговорили о чудачествах минувших лет, отнюдь не безобидных. Чего стоил один Иван Михайлович, истово молившийся у себя в дальних комнатах, выходявших в парк, давно ставший лесом, и люто

¹⁸ Лермонтовы – костромской дворянский род. Дед поэта Петр Юрьевич родился в родовой усадьбе Лермонтовых – Измайлово. Это, правда, Чухломской уезд, но и в Галичском у Лермонтовых было 4 имения: Никольское, Туровское, Воронино и Лежинино. Существует и дворянское свидетельство отца поэта, подтверждающее, что он родился «1787 года декабря 26 числа и в веру греческого исповедания крещен Галицкого уезда села Никольского церкви Николая Чудотворца священником Иоанном Алексеевым». Никольское принадлежало Лермонтовым с 1752, а дед Михаила Юрьевича в 1784-87 гг. был уездным предводителем дворянства в Галиче. Измайлово было продано им в 1791. Есть и еще нить, связывающая Лермонтова с Галичем, связанная с домом, построенным пленными французами. Здесь жил Павел Иванович Петров (1790-1871), участник наполеоновских войн. Михаил Юрьевич приезжал к нему в Ставрополь, где в семье принимали его, как родного, о чем свидетельствуют письма поэта к бабушке. В семье Петровых хранились автограф «Смерти поэта» и одна из лермонтовских картин маслом – «Вид города Мцхета». В 1840 г. Петров вышел в отставку и стал жить в Костроме – зимой, а летом – в селе Горском под Галичем. Дружил с Писемским, похоронен в Ипатьевском монастыре. Именно Петров и инициировал постановку сцен из драмы «Маскарад», осуществленную 31 января 1847 года в любительском благородном театре Галича, где его сын Аркадий играл Арбенина.

¹⁹ Абшид, от нем. der Abschied – отставка (официально употреблялось в России XVIII в.)

²⁰ Шаматон (разг. устар.) Шалопай, бездельник, хлыщ, верхогляд.

²¹ Погреб.

ненавидевший местного батюшку. Комнаты эти, всегда полутемные, полупустые, холодные, казались царством кощера, и хотя Иван Петрович умер всего тридцати шести лет от роду, всем и всегда он представлялся человеком вне возраста, каким-то тайным порождением даже не самого имени, а бескрайних лесов его окружавших. Он появлялся на парадном крыльце с поджатыми губами в извечной дворянской фуражке с околышем уже не красным, а бурым, требовал лошадей, садился в свою высокую нелепую таратайку, своими огромными тонкими колесами всегда напоминавшую мне не то жнейку, не то косиножку, и пропадал. И лишь спустя день или два узнавалось, что он приказал выкосить церковный луг или вытоптал у матушки огород, а то и кощунственно сам отслужил обедню в поле, призывая засуху, в то время как все вокруг молили о дожде. Впрочем, это не мешало ему так внушить супруге заботу о просвещении, что та через десять лет по его смерти даже построила в селе школу, правда, за неимением учащихся через пару лет заглохшую. На балы он не ездил, соседей терпеть не мог – трокуровско-дубровскую вражду все мы знали не по романам – родил шестерых детей и умер, еще почти не успев увидеть плодов реформы. До нашего далекого угла нововведения доходили медленно; прочитанный манифест остался пылиться в ризнице, ибо Иван Михайлович заявил, что такой дряни в доме не потерпит. За подобное вольнодумство и даже карбонарство ему едва не устроили скандал в уездном собрании, но, зная его бешеный нрав и владение оружием, как-то отступились. Мне всегда казалось, что и умер-то он именно из-за реформы, как это случилось с сотнями его сотоварищей средней руки. Уходил золотой век, и место крови заступал капитал. Столетия сдались в несколько десятилетий, даже быстрее. Пусть осознавалось это единицами, но кровно ощущалось почти всеми – крах, грядущая тьма, бессмысленность. И чудили, и нищали, и спивались, и даже в революцию уходили... Иван же Михайлович умер, протосковав неделю и язвительно твердя невесть откуда ставшие ему известными строки, хотя в жизни ничего, кроме «Сына Отечества», не читывал.

*Ну, смотрите! Какого вы званья? –
«Дворянин» – Пробегал я сейчас
Вашу книгу: свободы крестьянства
Вы хотите? На что же тогда
Пригодится вам ваше дворянство?
Завираетесь вы, господа!²²*

Перед смертью же, будучи верен себе и издеваясь таким образом и над собой – и над новыми порядками, сладострастно потребовал у земства воспомоществования на собственные похороны, каковое и было выдано в размере трехсот рублей. Кажется, скуповатая Пелажи тут же убрала их в свои таинственные закрома.

И, стоя у развалившейся, но все еще двадцатитрехсаженной церкви Преображения, когда-то самой высокой в губернии, я сильнее всего чувствую, пожалуй, дух именно прапрадеда, уже далекий от безупречности расцвета, но еще не тронутый ржавчиной распада. И меня не отпускает ощущение, что в последние предсмертные минуты свои он с тоскливой ясностью видел то, чем закончились все его страсти, немногим отличавшиеся от страстей сотен и сотен ему подобных. История обыкновенная, и этой обыкновенностью еще более жуткая: утром пришли крестьяне из деревни и, как-то помявшись, сказали: «Ты, барин, хороший человек, но ты уезжай. Мы тебя сожжем». Усадьбу, конечно, не человека. «Но почему же? Разве я не помогал вам, сколько мог?» «Правда твоя, да все жгут...»

– А, говорят, только он умел нашу сирень разводить, – вдруг грустно заметил Лодя. Сирень в Новом Готовцеве действительно была удивительная, какой больше нигде и не води-

²² Стихотворенье Н. Некрасова было написано в 1863 г., но по духу соответствует именно времени реформ.

лось. Лепестки величиной с двухкопеечную монету, почти круглые, издали отливала фарфором магнолий и молочно светились в сумерках, но, стоило подойти поближе, как цвет начинал густеть, завиваясь к центру спиралями перламутрового, розового, голубого, синего, лилового и почти черного. И никакие духи не могли сравниться с тем запахом, который окутывал июньскими вечерами усадьбу, пропитывая портьеры, скатерти, даже сливки и даже вино. Что-то на мгновение вспомнилось мне, но Илья шутливо провел мне по лицу сиренью здешней, и ощущение ушло, прогнанное ароматом обычным. – А здесь сирень совсем не такая...

Все невольно потупились, и тогда Ляля, наверное, как самая маленькая, громко вздохнула:

– Но если там было так хорошо, то почему же мы здесь?!

Я отвернулась. Действительно, почему? Почему я сижу в чужом доме и живу чужой жизнью? Почему эти дети тут, когда им надо быть где-нибудь в предвоенных столицах, ходить в советскую школу и прятать красивые тонкие руки, которые не обезображиваются до конца дней никакой работой? Почему мой медовый Илья уходит куда-то и с кем-то за Белую вместо того, чтобы быть со мной?

Но именно он выручил меня, как всегда:

– Одиннадцать. Пора спать. Но ложитесь-ка лучше в рояльной.

И Лодя с Лялей, как и полагается воспитанным детям, молча встали, подошли под благословение и тихо друг за другом ушли. И свет от них, умножаемый анфиладой, еще долго дрожал, угасая медленно и незаметно.

– Они вернутся?

– Не знаю. В зависимости от того, нужны ли они тебе еще?

– Но ведь та женщина не вернулась, хотя с ней можно было, наверное, узнать куда больше.

– Их ты любишь, а ее – нет.

– Еще бы! Ведь они – мои персонажи, а она – нет.

– Тогда попробуй сделать персонажем и ее.

– Постфактум нечестно.

– Честность в творчестве?

– Именно. Конечно, я понимаю, что мы про разные честности сейчас говорим, но... Но если рассуждать по-твоему, то завтра же, неровён час, сюда хлынет казанская рать, и только лишь для того, чтобы мне посмотреть, как у них саадаки устроены.

– Ну, для этого и одного достаточно, а с одним-то я уж как-нибудь справлюсь. Слушай, а нет ли здесь и вправду какого-нибудь меду, так меня эта девка раздражила!

– Это намек? – рассмеялась я. – Я ведь тебе уже рассказала о предупреждении таинственной дамы. И, вообще, даже четвероюродным – грех.

– Даже троюродных венчали!

– Так то – венчали. Ладно, Илюшенька, пошли, кажется, коньяку в прошлый раз привезли много.

* * *

Мы просидели почти до утра, занимаясь тем, в чем, собственно, и заключалось всегда наше общение: вспоминая, мы сохраняли наше прошлое, делая его частью настоящего, а учитывая наших детей, и будущего. В кухне было уже не повернуться от воевод, провинциальных барышень, армейских офицеров, стольников, помещиков со странностями, смолянок и еще каких-то личностей, определить которых точно было уже затруднительно.

В конце концов, Илья предложил перейти в бальную. Мы взяли вторую пятизвездочную бутылку и, с трудом протолкавшись сквозь толпу, перешли в пепельную, как ранний рассвет, бальную. Правда, надо признать, что вся эта разношерстная публика была, в отличие от Лоди

с Лялей, почти бесплотна, безгласна, и только порой плечом или рукой я натыкалась то на царапающий шеврон, то на скользкий мех опашня²³; Илья же, я думаю, больше попадал по обнаженным ручкам или даже по скрытой под батистом груди.

В бальной оказалось свободней еще и потому, что часть гостей растаяла по дороге: одни, увлекшись новизной, другие стариной дома, разбрелись по комнатам, но большая часть исчезла, видимо, за ненадобностью.

– Да и слава Богу!

– Вообще-то так нехорошо, Илья Андреич, – заметила я, устраиваясь в углу на шелковом зеленом диванчике. – Они все для нас равны.

– Тебе хорошо говорить, Марья Николаевна, вокруг сплошные егеря да студенты, а о женщинах известно в десятки раз меньше, хотя именно они поддерживают историю рода и непрерывность судеб. Ну, с кем мне здесь поговорить? Неужели вот с этой барышней? – Он указал на невзрачную девушку, из-под деланного крепостным Авдюшкой пакляного парика которой выбивались жесткие черные волосы. Двигалась она, как деревянная, и было видно, что платье ей отчаянно мешают и что вместо неловко прижимаемого к боку томика, кажется, Дефонтеня²⁴ она с наслаждением бы варила вишенье и таскала за косу провинившихся девок.

– А *propos*, *rougquoi pas*?²⁵ Может быть, у нее хорошие задатки, и их следовало лишь правильно развить! И, может быть, именно от нее пошло наше вишневое варенье. – Действительно, уже пару столетий варенье варилось у нас всухую, и все с детства помнили этот ни с чем не сравнимый запах, когда вишня, горстками кидаемая в сверкающий золотом таз, начинает весело щелкать и пятнать стенки, пока ее пыл не угасит сахарный дождь. Аргумент был сильный – Илья вишенье обожал.

– Ты еще рецепт для кур вспомни! – фыркнула я. Рецепт этот, доставшийся нам от Марьи Ивановны Римской-Корсаковой через старуху Янькову, был, можно сказать, куриной библией всех, кто в любые времена пытался заняться сельским трудом. Все знали его практически наизусть: *«На тринадцать кур. Сделать садок на каждую курицу, местечко, чтоб могла только курица повернуться. Муки гречневой два с половиною фунта в сутки, масла коровьего один на три дня, молока пять фунтов в сутки...»* Короче говоря, из этого делались шарики, трижды в день обмакиваемые в молоко затем «пропускались» курицам в горло, после чего непременно надо было оставить их в темноте. Шарики эти служили предметом вождения для многих поколений детей, и не знаю, как другие, но мы с Ильей достаточно понарушали из-за них восьмую заповедь.

– А вот там, посмотри, у печи, очень даже ничего.

У белого кафеля голландки одиноко стояла невысокая пухленькая почти девочка в кожанке и ореоле стриженных пышных волос. В серых глазах ее читались восторг, решимость и недоумение одновременно.

Илья нахмурился и стал смотреть в окно, где над лесом исподволь начинало розоветь небо.

– Впрочем, ты же знаешь, что в отличие от тебя, я был и есть – за. Мы виноваты и мы первыми должны были и начать, и погибнуть.

– Уничтожив заодно с собой миллионы. Вон полюбуйся! – Почти напротив нас, почти нам в лицо презрительно усмехался поджарый, как волк, изможденный и черноволосый молодой человек с объемистым, но хрупким пакетом, традиционно аккуратно перевязанным бечев-

²³ Долгополый кафтан (из сукна, шелка и пр.) с длинными широкими рукавами, частыми пуговицами донизу и пристежным меховым воротником.

²⁴ Дефонтен-Гюйо Пьер-Франсуа (1685-1745) – французский писатель. Был сначала иезуитом, но вышел из ордена и неоднократно попадал в тюрьму за буйства и скандалы.

²⁵ Кстати, почему бы и нет? (франц.)

кой. – И, я уверена, что он окажется гораздо бестелесней той, с Дефонтенем. Часто мы о нем вспоминаем, а?

– Все-таки чаще, чем ты сейчас хочешь представить.

– Только по необходимости. И, возможно, его не было бы, если б еще не этот голубчик.

Мы разом повернулись к самому дальнему углу, где в мертвом круге пустоты петушилась богато разряженная фигура в польском кафтане, кунтуше и с сигизмундовским орденом на шее. Это был позор рода, тот самый карамзинский «неизвестный дворянин», бежавший на сторону побеждавших поляков. Имя его столько столетий старались не называть при детях, что, в конце концов, оно поблекло, стерлось и исчезло – во всяком случае до тех пор, пока кому-нибудь не захочется покопаться в краковских архивах. Пока таких не находилось, и красавец в мехах оставался не только безымянным, но и презираемым даже тенями.

– Но ведь мы не знаем, что... – устало начал Илья, в котором примиряющее начало было гораздо сильнее, чем во мне.

– Я знаю, знаю! Нельзя судить поступки пятисотлетней давности с современных позиций, да еще и даже не выслушав обвиняемого. Но судим не мы, а они тогда, и мы не вправе менять их отношение.

– Вот-вот, ничего не менять, «держать и не пущать» – сама знаешь, чем это кончилось.

– Ты еще скажи, что, если сейчас мы войдем в его положение и пожалеем этого мерзавца, то не будет ни Сергея, ни Нади, этакая бабочка Бредбери²⁶...

Тем временем оживленный нашим пристрастным вниманием человек в польском кафтане порозовел, приободрился и даже начал поигрывать невесть откуда появившейся саблей, которой до этого точно не было. Остальные же побледнели, начиная сливаться с зарей.

– Видишь, всего лишь толика внимания, и уже снова гонор, оружие. Ты прости его, а он тебе тут же и голову с плеч. – Все Барыковы любили оружие и хорошо им владели. – Ну, давай!

– Еще кто кого! – запальчиво, как мальчишка, огрызнулся Илья, но коньяк, к счастью, уже закончился.

Я постелила ему в алькове, чтобы было не так скучно спать, а сама пошла к себе, по дороге столкнувшись с последним, видимо, совсем подгулявшим помещиком. Он пристыженно запахнул на груди рубашку, но тут же начал истово креститься, словно увидел перед собой дьявола во плоти. Я тихонько открыла перед ним нужную дверь.

Ложиться было бессмысленно: утренняя печка должна соблюдаться неукоснительно, пуст ли дом или полон гостями, болен ты или пьян, немощный ты старик или слабый ребенок. Я открыла ноутбук в полной уверенности, что все хорошо и что лодина майник-трава, конечно, помогла нервной и непредсказуемой Шельме.

Однако вышло совсем не так.

Он жил на самом краю той стороны, что была обращена на юг, к городу. Осенью оттуда сияло лишь серо-лиловое зарево, а зимой, когда деревья становились прозрачными, проглядывали смутные громады домов. Зимой было романтичнее, но осенью томительней, ибо дома ему уже ни о чем не говорили, а вот сиреневые небеса, подсвеченные снизу винной листвой, о чем-то напоминали и куда-то звали. Впрочем, он редко смотрел в направлении города и не потому, чтобы это было неинтересно, а лишь оттого, что и рядом в сантиметрах, в миллиметрах от него находилось и происходило так много удивительного и прекрасного. Он неделями наблюдал за гниющим березовым листком, с упоением замечая, как канареечная желтизна пятнами сменяется хлебной буроватой теплотой, а та в свою очередь уходит под натиском успокаивающей черноты гнили, как изящные фестоны по краям становятся рваными ранками, как обнажаются потом паутинные жилки остова, как жадно

²⁶ Имеется в виду рассказ Рея Бредбери «Звуки грома».

торопится поглотить их вечно ненасытная земля. А тайная работа утренней росы, год за годом подтачивающая уголок зеленоватого гранита в том месте, где о него звякнула лопата! А оглушительный звук, с которым лопались неведомые кирпичного цвета ягоды, разбрасывая белые бархатистые семена в тягучей прозрачной оболочке! Последние часто напоминали ему сперму, и он всегда мучительно уводил взгляд к недалекому кусту можжевельника с его определенностью и горькими даже на вид плодами или к сморщенным ягодам рябины чуть выше. Зимой было проще: снег, несмотря на тысячи форм и оттенков, все же давал некое подобие однообразия и возможность мысли. Зимой они больше всего и общались, ибо грядущая весна – время оживания живого – изначально существовать для них не могла, а летом бывало слишком жарко и слишком много народа.

С соседями ему повезло, люди все были творческие, чего-то в этом отношении достигшие и спокойные, если, конечно, не считать восторженную пожилую даму, обитавшую ближе к лесу, которая умудрилась притащить даже сюда строчки о том, как было молодо и невиданно, и вцепилась в них намертво. Это раздражало всех, хотя по негласному, сотни лет существовавшему уговору следовало уважать любые проявления жизни, пусть даже совсем неуместные, и все молчали. А еще порой из-за отдаленной сосны раздавался унылый томный голос, с бархатным надрывом твердивший о любви и голубых лошадях. Это тоже считалось неприличным, но тоже прощалось, поскольку уж очень хорош был голос, пенными волнами омывавший робкую траву и жавившиеся друг к другу худосочные березы...

И, если бы он мог плакать, то непременно заплакал бы, потому что каждый раз, услышав про лошадей, вспоминал свою кобылу, растерянно шедшую за гробом и косившую на него удлинненным глазом с голубоватым белком. В такие моменты ему каждый раз приходил на помощь сосед-старичок, всегда тонким чутьем, столь развитым в их кругу, понимавший шаткость его состояния. Воспоминания тоже находились под жестким запретом: с воспоминаниями вся их жизнь превратилась бы в непрекращающийся плач, в стон и в ад. Поэтому старичок деликатно отвлекал его внимание какой-нибудь нежной паутинкой, незаметным дыханием ветра державшейся в воздухе, или новым впечатком подошвы в песке, который становился похожим от этого на туркестанские барханы. С барханами было уже легче, хотя, если говорить честно, он не должен был бы сравнивать песок и с барханами – они тоже все-таки присутствовали когда-то в его жизни.

Но, слава Богу, голос раздавался нечасто, и ему нечасто приходилось упрекать себя в какой-то своей неполноценности сравнительно с остальными. Время и пространство были здесь абсолютно прозрачны, и он ясно знал, что ни у кого из окружавших его людей воспоминаний нет и быть не может. А перед ним, то более смутно, то отчетливей, то чаще, то реже, но неизбежно возникали обрывки минувшего. Началось это около четверти века назад, – потом он определил срок по той строгой рябине, – в самом начале осени. Воспоминания сначала были действительно настолько смутны и обрывочны, что он не обратил или не посмел обратить на них внимания. А спустя какое-то время избавиться от них стало уже невозможно. То есть, конечно, они не длились часами, даже минутами, как это бывает обычно, но возникали постоянно, ассоциируясь со все большим кругом видимого и слышимого. Так один раз темное небо над городом вдруг вынудило его вспомнить густой черничный кисель, который подали вечером на высокой белой террасе... Но где была эта терраса? А шелест листьев вдоль канавы раз отозвался шорохом остригаемых, вьющихся и пепельных, волос... Чьих?

Потом он с ужасом стал ощущать свою причастность к воспоминаниям. В щелканье соловья звенел его стакан, тот самый с шероховатинкой гравировки по правому, чуть сколотому сверху боку; из забытой мышью корки вставала шапка кулича, который он нес по запорошенным снегом улицам, а потом, благодаря голубым лошадям появилась и его лошадь. Она была живая, она двигалась, перебирала точеными ногами в чулках, терлась атласистой мордой. От такого был уже один шаг до самого себя, и сделать его – а он уже не сомневался,

что, судя по развитию событий, шаг это сделается помимо его воли – будет означать самое страшное – безвыходное понимание того, что он мертв. Мертв давно, очень давно, так давно, что рассыпались кости и сгнил немецкой кожи ремень, подпоясывавший гимнастерку со спортивными погонами. Так давно, что умерли уже, пожалуй, и дети тех, кто жил с ним, и никто не знает его имени, почти стершегося на зеленом граните надгробия. И сам он не имеет права да и не хочет о нем помнить.

Это написалось само собой, и если бы не появившиеся вслед за кобылой барханы, то я и совсем не знала бы, о ком эти строчки на призрачно светящемся экране. Все остальное можно было написать о десятках моих предков, чьи безымянные могилы разбросаны по всей России, но ведь и могил почти нет. Если только случайно забредешь в мертвом селе на руины церковного кладбища и пройдешь, отгибая руками высокую траву в сущности ни на что не надеясь, то, возможно, увидишь осколок колонны или кусок гранита и скорее догадаешься, чем прочтешь. Или сожмет сердце и на мгновение закружится голова при виде сгнившего дубового креста, и по запевающему гулу крови в венах поймешь – твое. Но нет ни церквей, ни кладбищ, ни имений, некуда прийти, и ни танк на пьедестале в Кубинке, ни переулок в сердце столицы не утоляют мою жажду и не лечат мою тоску...

За окном уже давно разгорелось солнце, заставляя ручей течь тише, чем ночью, а разум работать трезвей и спокойней. Однако когда я пришла в кухню растапливать печь, то обнаружила гору грязных тарелок и рюмок – значит, не все гости отправились за нами в бальную, предпочтя привезенные из Питера невиданные лакомства в виде сгущенки, йогуртов и мюсли. Пили и водку, хотя было видно, что не понравилась – почти во всех рюмках недопито. Я зло-радно хмыкнула: нечего считать, что после непременно живут лучше.

Поднялся Илья: как известно, в алькове под бурные томления сладострастницы Барб всегда спишь крепче и высыпаетесь быстрее. Я нарочно ничего не спросила у него про детей, хотя он несомненно прошел через рояльную, а не коридором. Он же, как ни в чем не бывало, потянулся и заявил, что чувствует себя здесь, как дома. Всем нам, русским, отчаянно не хватает Дома, и мы хватаемся за любую соломинку и за любую иллюзию вместо того, чтобы попытаться создать свой Дом самим. Впрочем, я почему-то мало верю в возможность последнего, особенно для нас, мелких осколков прошлого; до тех пор, пока золотым сном тихо светят нам наши былые дома, мы, как бабочки, будем грезить о них, становясь мало способными к строительству реальности. И я не знаю, что лучше: то ли, чтобы тихое это сияние не угасало как можно дольше, то ли, чтобы оно умерло окончательно, дав возможность будущим поколениям все-таки построить свой Дом. Но только перед тем, как отойти навсегда, пусть этот бледный огонек вспыхнет костром, пожаром, осветив грядущее заревом в полнеба!..

Мы долго завтракали на террасе, завтрак переходил из первого во второй, а потом и в третий, ласково звенело привезенное Ильей какое-то испанское вино, и когда солнце перека-тилось за конек крыши, мне показалось, что на лугу я слышала лялин смех и шуршание воз-душного змея. Мы болтали Бог весть о чем, ибо смысл был не в словах, а в возвращении к самим себе. Долгое время я считала, что главное для человека – это видеть, но теперь все чаще склонялась к первенству слуха, дающему шанс и право услышать слово, слово, так или иначе восходящее к бывшему в начале... Слепые всегда тоньше и талантливее глухих.

Правда, мне трудно было спорить и с Ильей, доказывающему мне сейчас убогость сло-весного мира, оплетающего наши непосредственные чувства и закрывающего подлинное сли-яние с миром.

– Странно, что возражаешь мне ты, всегда ратующая за приоритет ощущений.

– Но ведь текст – моя жизнь. Я всегда завидовала музыкантам, точнее говоря, компози-торам, их общение с миром куда менее опосредовано.

Увы, все Барыковы традиционно не отличались хорошим слухом и не отличались способностями к рисованию, зато слово владело ими безраздельно, и, начав с длинных писем в шестнадцатом-восемнадцатом, они поддерживали его стихами и повестями в девятнадцатом, публицистикой и научными статьями в двадцатом и критикой с романами в двадцать первом.

– Вспомни, даже внучка великого рисовальщика Толстого, выйдя замуж за Сергея Львовича, в конце концов, превратилась в поэтессу²⁷! Про фрейлину Александру Андреевну²⁸, эту лучшую любовь Льва Николаевича я и не говорю. Как еще яснее доказать нашу пристрастность к слову! – рассмеялась я. – и опять же, кто, как ни старинное дворянство средней руки создало тот дивный русский язык, без которого мы превращаемся в ничто, а?

– Старинное! – вдруг совсем невежливо буркнул Илья, листая оставленную кем-то книгу о появившихся лишь с шестнадцатого века Львовых. Он всегда слишком болезненно относился к оставленному игрою счастья нашему роду, и все последнее поколение знало историю о том, как маленький Илюша, в коммунистические времена оказавшись с отцом, кажется, на Бородинском поле, и услышав весьма скупое пояснение, что тоже принадлежит к древнему и славному российскому роду, почему-то тайно возомнил себя Рюриковичем. С этим ощущением он прожил несколько лет и, наверное, поэтому часто как-то забывал, что именно наша, старинная, не ловившая чинов и не пробивавшаяся ко дворам, а сидевшая веками в поместьях часть служилого русского сословия прорастала корнями во все области русской жизни, связывая в единую нацию остальных, делая черновую работу культуры и создавая почву для блеска империи и ее гениев. Мне нравилось быть неотъемлемой и жизненно необходимой частью, Илье как мужчине, наверное, хотелось больше внешних успехов.

Я всегда утешала его хуторством Романовых – в шутку, и достижениями деда – всерьез. Танк, столь любимый солдатами в Финскую и изображенный на медали, отчасти заменившей Георгия – «За отвагу», до появления «тридцатьчетверки» был лучшей нашей машиной. Да и еще чьим учеником и подмастерьем был Кошкин²⁹!

– Да оставь ты этих Львовых! Кажется, сюда кто-то едет. Вот уж не вовремя! – Детские голоса за липами стихли, и я поспешно поднялась. – Не хочу я никого ни видеть, ни водить. Давай, все быстренько уносим в дом, я пойду поработаю, а ты скажешь, что музей закрыт и все ушли по грибы.

– Какие грибы в июне, опомнись!

– Ну, скажешь, что выходной, и следи, чтобы дети, не дай Бог не появились, а то они одними костюмами возбуждают ненужный интерес.

– Последнее вряд ли в моих силах.

Однако Илья сошел на ступеньки и сел, напустив на себя вид настоящего московского барина – такого спрашивать вообще ни о чем не хотелось. Я же тенью шмыгнула в столовую и отгородилась от окна поднятой крышкой ноутбука.

Стоял тот обычный хорошим летом день, когда трудно определить час, и деревья так дрожаще-неподвижны, что, кажется, могут исчезнуть от малейшего движения, воздуха ли, руки ли. Может быть, даже мысли, – подумал он, ибо именно сознание оставалось последним прибежищем их всех, безвозвратно потерявших движения и чувства. Один листок с такого дерева, еще глянцевиный молодостью, но уже явственно шероховатый, вздрагивал перед ним,

²⁷ Имеется в виду Анна Павловна Барыкова (1839-1896), ур. Каменская, внучка русского скульптора и медальера, президента Академии художеств графа Федора Толстого. В 1857 году она вторым браком вышла замуж за присяжного поверенного С.Л. Барыкова.

²⁸ Имеется в виду двоюродная тетка Толстого Анна Андреевна Толстая, фрейлина, воспитательница Великой княжны Марии Александровны. Мать Анны Андреевны была ур. Барыкова.

²⁹ Кошкин Михаил Ильич (1898-1940) – советский конструктор, начальник КБ танкостроения Харьковского завода, создавшего знаменитый танк Т-34. Работал под руководством Н.В. Барыкова.

снова вызывая темные, как в глубине воды, воспоминания. И эта неясность, которой еще недавно он только порадовался бы, как новому развлечению, теперь раздражала и мучила. За проклятым листком, которому было суждено еще долго не оторваться и не упасть на жадное тело земли, ему все виделся сад в сером осеннем тумане, освещаемый обреченно вскинувшими полуголые руки алыми кленами. Гранитные ступени вели наверх, и в слабо покачивающихся цепях запутывались пальые листья. Сад был не в имени, не на хуторе – это был один из садов города-мифа. Города, которому ничто и никто не нужен, и посему то принимавшего все без разбора, то, наоборот, капризно сужавшего круг избранных. Города, о котором он давно забыл, который ничего не могло здесь напоминать и который действительно до этого утра не появлялся в его мыслях. Теперь же у него на мгновение даже мелькнула мысль о том, что город, может быть, только и держится их бессознательной общей памятью, а пропади они – и рассыплется горсткой пепла. Утро уже давно сменилось днем, день сумерками, но сад в нем был все еще живым; капли сгустившегося тумана – или дождя? – медленно скатывались по узким перилам, особенно светлые на влажной черноте чугуна. И у него должно было быть имя. Имя, опять имя – определенность, названность – вещи, закрытые для него и тех, кто рядом... Сосед-старичок, воистину вечный советник и спутник, тотчас обеспокоился и незримо указал ему за листок, в ту сторону, где слышались вздохи тронутых шагами листьев. За много лет и будучи когда-то хорошим охотником, он давно научился распознавать идущих и по ворохам листьев, и по скрипу снега и даже по утробным вздрагиваниям весенней земли. Не говоря уже, конечно, о поле и возрасте, безошибочно узнавались настроения, намерения, степень родства. Он знал спешащий, летящий шаг матерей, каменеющий – отцов, то и дело замедляющийся – вдов, неловкий и запинаящийся – друзей. Он помнил их тысячи, но никто никогда не имел отношения к нему – и так было даже лучше.

Слышимые шаги тоже были адресованы не ему и никому вообще. Они спешили с неведомой целью, не дышало в них ни горе, ни любопытство, ни святотатство. Они то приближались, то удалялись, и листок дрожал в такт этим перемещениям то испуганней, то нежней. Вдруг он мелко и быстро залепетал, извиняясь, сбиваясь, и оборвав лепет на полуслове, с облегчением и презрением к неурочному своему падению поплыл по воздуху в направлении снова приближающегося шороха. В тот же миг шаги отозвались уже прямо в его сознании, и человеческая плоть впервые за десятки лет закрыла перед ним и обнищавшую ветку, и весь маленький, собранный по пылинке и травинке мир.

Стало темно, как не бывало в бесконечные зимние ночи – и как не было даже в его первые, самые страшные часы здесь. Но так же внезапно темнота ушла, сменившись тяжестью над левым плечом. И ему стало жутко – не от тяжести, ощущения никогда здесь не испытываемого, но от осознания своего тела, которого не было и не могло быть. И по этому несуществующему телу прошла тугая волна жара.

Когда я оторвалась от экрана, за окном уже вечерело. Я вышла на террасу и посмотрела на небо. Разделенное надвое колонной, оно являло собой странную, даже фантазмагорическую картину: левая половина принадлежала уютному июньскому дню, клонящемуся к закату, вторая, правая, отсылала едва ли не к апокалиптическим видениям Доре. В первой плавно, как остатки вытряхнутых перин, уходили вниз облачка, сновали ласточки, и от цветов того неведомого кустарника, название которого я так и не могу узнать и которые так напоминают пенки от клубничного варенья, действительно пахло свежесорванной ягодой. Было слышно, как далеко на деревенских лугах перекликаются первые косари.

Зато правая сторона шумела закипавшей перед грозой рекой, трясущимися от страха купами сирени, и небо там чертили не ласточки, а идеально рассчитанные круги ястреба, и казалось, что именно в эту воронку спустится к нам огонь и какое-нибудь пророчество. Лило-

вое небесное воинство надвигалось медленно, но неостановимо. Впрочем, можно было ожидать, что гроза все-таки уйдет через реку. Ни Ильи, ни детей не было ни видно, ни слышно.

Я не боялась гроз, но, как и все наши, с пеленок слышала берущий за душу рассказ о грозе в храме и потому относилась к этому явлению не как к физическому, а скорее, как к метафизическому – неким вратам, на краткий миг открывающимся человеку в небесах и делающим доступным сокровенное, каким бы оно ни было. История же, передаваемая из поколения в поколение, повествовала о том, что на престольный праздник Петра и Павла в огромном торговом селе Фоминском на Пошехонье, принадлежавшим нам на треть, в церкви собралось несметное количество народу. С трудом освободили место для помещиков, и служба началась с опозданием. И так-то не очень сильный голос батюшки увязал и тонул в тяжелом дыхании сотен людей, запахе земли и ладана, пота, льняного масла и духов, а снаружи катастрофически быстро темнело среди бела дня. Минут через десять стали тухнуть свечи, и опытные стали уже на четвереньках выползать к выходу. Прапрапрадед стоял не шелохнувшись и, кажется, даже не заметил, как, дворня расталкивала толпу для обоих его соседей. Не прервал он молитвы и тогда, когда раздался истерический крик «Стёкла! Стёкла бейте, православные!». Но едва распахнули двери и послышался отвратительно острый и всегда сулящий беду звук разбиваемого стекла, как по головам стали хлестать голубые градины величиной с яйцо. Выйти при открытых дверях стало невозможно. В церкви стоял перламутровый свет и стон вперемешку с богохульствами; удвоив панику, засверкали зарницы, и только тогда, словно очнувшись, прапрапрадед взялся за охотничью нагайку, с которой не расставался никогда. Но боль от ударов была уже неотличима от продолжавшего полосовать людей града и всеобщего ужаса. И тогда, оттолкнув дрожащего священника, он вскочил на высоту амвона и крикнул в никуда, перекрывая вой и ветер: «Или кончиться грозе и мне одному владеть Фоминским – или провалиться ему сквозь землю!»

И, словно от кощунственных этих слов, небо притихло, град прекратился, и толпа в крови и синяках стала медленно выползать из храма. Прапрапрадед же вышел почти по спицам, охлестывая вокруг себя нагайкой, как охотничий пес в ожидании поля. Гроза эта выбила все хлеба, начался голод вкупе с какими-то делами по закладу, опекунскому совету и даже откровенному разбою – и к Покрову Фоминское стало полностью нашим. А после революции, когда осталась там о Барыковых лишь глухая – да и недобрая – память, село действительно оказалось на дне Рыбинского водохранилища со всеми своими купеческими лабазами шестнадцатого века и роскошными пастбищами, говорят, не уступавшими швейцарским альпийским лугам где-нибудь под Гларусом. Не знаю, как бомбист Сергей Иванович, оказавшийся в Швейцарии, не пробыв в ссылке и половины срока, а я, глядя на бархат горных лугов, все равно упираюсь прихотливыми путями памяти в несчастное Фоминское, спящее – надеюсь, только до срока! – под волнами рукотворного, а потому далеко не вечного моря.

Так вот с общеизвестного этого рассказа и рождалось у всех известных мне Барыковых чувство открытого пути меж землею и небом; все любили выйти в грозу на улицу ли, в поле, задрать голову и увидеть в раскалывающем небо росчерке свою мечту или судьбу. Бывало, что разряды били совсем рядом, так что судорожной дрожью сводило руки и ноги, ледяной дождь приводил к тяжким хворям, но никогда никого огонь не тронул, ни человека, ни скотины, ни дома, а у прабабки даже после одиннадцати детей летели с простыней искры. Другое дело – что просили. И боялись не огня небесного, а того, что вырвется из непослушных в те краткие секунды губ... Детей пытались не пускать из дома во время гроз, запирали все двери, но невысокое, тонкое и гибкое племя как-то справлялось со всеми засовами и запретами и снова желало себе огненного счастья, одному только Богу известно в чем заключавшегося.

Заволновалась и я: ладно Илья, в том благодушном состоянии вневременья, в которое дом приводил всех неофитов, он вряд ли попросит чего-нибудь больше, чем калиново раскрасневшихся щек и прочих медовых сладостей – но что могут сейчас попросить себе Людя

с Лялей? А я сама? Неужели я действительно хочу, чтобы их больше не было? Я ведь в детстве так любила Лодю, кумира всех девочек от поповны до первой ученицы, любила его ясное лицо, его странное сиротство при живых родителях, его мнимую смерть и так хотела такого же кузена. Увы, со временем влюбленность моя перешла на другого, не мальчика, но юношу с поющими руками, по-барыковски черноволосого и по-настоящему закрывшего свои удивленные, свои нежнейшие глаза на семнадцатый день войны. Юношу, ровесника моего отца. И мне так грустно, что всех моих реальных кузенов, сказочных мальчиков с не выводимой ни временем, ни чужой кровью прелестью, я уже не могу любить так, как любила двух этих... «Чаю воскресения мертвых».

А теперь он почти мешает мне. Или я боюсь? Гроза между тем застыла, словно ждала какого-то моего решения. И я отправилась искать их, как вор, ожидая в спину внезапного удара первого порыва.

Они оказались под первым мостом, куда Илья, блюдя традиции, почти силой затащил их. Все трое сидели на камнях, и он пытался им что-то рассказывать, но по напряженным лицам, устремленным в клубящееся небо, я видела, что детям не до рассказов. В Ляле читалось лукавство, в Лоде – решимость.

Наконец в последний миг совершенной тишины, всегда наступающей перед грозой, оглушающе упала на доски моста первая капля; стукнуло, выждало, потом заторопилось-заспешило, словно боясь не успеть, и через несколько секунд вокруг уже свинцовой завесой стоял дождь. Дети выдержали до первой молнии и с криком, неслышимом в раскате, выскочили на луг. Я думала, что сейчас они пустятся в индейский танец, но они остановились на середине, взялись за руки и подняли вверх головы. Слишком хрупки и белы были их горла перед мощью природы, слишком слабы руки, которые они стали тянуть вверх, и скоро я уже не могла различить в бешенстве струй, где вода, а где беззащитные, сливающиеся с ней тельца. А при очередном сполохе мы оба увидели, как они исчезают, распадаясь белым туманом, паром, становясь особо плотным в этом месте водоворотом дождя. Неужели их желание было – небытие?

Какое-то время мы сидели, просто глядя на дождь, сгущавшийся над рекой в подобие театрального занавеса, и все казалось, что сейчас прозвонит звонок, и дрогнет занавес, и разъедется в стороны, и мы увидим на сцене берегов новую пьесу о нас былых – или тех, какими мы будем, что, в общем-то, становилось уже одним и тем же... Но таинственный режиссер все медлил, а, может быть, просто были, как всегда, не готовы актеры или даже какие-нибудь бутафоры с постижерами³⁰.

– А ведь у тебя был такой шанс... – все-таки не выдержал Илья.

– Какой?!

– Ты могла узнать...

– А ты – не мог? Ты, вон, сидел с ними здесь, что ж не расспрашивал? И не надо тыкать в меня моментом авторства, оно уже не причем, они были сами по себе, и тебе, наверное, раскрылись бы проще...

Словом, мы лили с больной головы на здоровую и обратно, если последняя и вообще существовала. Вода в ручье, ярясь между камнями, вскипала, потом, словно потеряв силы, становилась прозрачной и послушной, и снова начинала бесноваться. Мы переглянулись. Эти бестолковые перемены слишком напомнили нам нас самих. Я уткнулась в теплое плечо и заплакала.

– Я устала, Илюшенька! Последнее время я, как никогда, чувствую смерть – и тем сильнее воскресенье, я все ищу знаков, а когда они явлены, не хочу задумываться, если не вовсе бегу прочь. И я всегда разорвана, ибо часть меня всегда в прошлом, и по-настоящему дома я только там, где, как здесь, – я махнула в сторону дома в зыбкой пелене, – колонны, бюро, старинные

³⁰ Постижер – специалист по изготовлению париков, усов и бород.

портреты, непрерываемая жизнь. Но каждое пребывание здесь или в подобных местах ранит, корит: почему же ты здесь, а не там, где каре пруда под кольцом берез? Не под сиренями на руинах? Не обиваешь пороги всех и всяческих инстанций, чтобы спасали нашу церковь или, на худой конец, сама не стоишь с мастерком у ее стен? Денег нет? Да, конечно же, нет. Но ведь и не будет! И все-таки... просто домик на развалинах – и, может быть, тогда я обрету покой... Я соединю, замкну круг... гармонию... счастье... – уже едва слышно всхлипывала я.

– Долг блаженнее счастья, – тихо сказал Илья так любимую нами в юности фразу, вычитанную откуда-то из писем прапрадеда еще одним нашим кузеном, и сладко, и горько повторяемую на все лады и в самые разные случаи жизни. – Но ведь исполнить его можно разное.

– Ты имеешь в виду мои тексты?

– Твою живую память. И не плачь, разве ты забыла? – Илья крепко обнял меня и прошептал в самое ухо другие волшебные слова. Ах, эти три слова! Как взыскующе говорили их наши деды, как долго когда-то мы не смели произносить их вслух, не из боязни, но из великой ответственности, как шептали после жестоких подростковых обид и взрослых бед, как, став родителями, сами сурово роняли детям... Всего три слова: «Ты – русский дворянин!» Ими пресекались споры и жалобы, наравне с душевной преодолевалась и боль физическая, ты становился почти неуязвим для оскорблений, ты смотрел на мир с поднятым забралом и мог достойно отвечать на все его вызовы. – А мне еще и герб всегда помогал, – совсем помальчишески добавил Илья, всегда в подобные минуты читавший мои мысли. Что ж, шпаги и звезды³¹ – сильное утешение, давно известно, что «белые звезды с неба не выскрести»³².

– А мне еще и галичский герб, – сквозь слезы или уже только сквозь дождь, улыбнулась я. Вышло так, что я единственная из своего поколения проводила летние каникулы неподалеку от нашего Нового Готовцева и застала людей, еще помнивших моих прабабок, их язвительные пенсне, медовые пахитоски и шлепанье намокшего шелка по сельским лужам. Потому и больше остальных любила я эти языческие места древнего Галивона³³, Поклонную гору, где до моего детства праздновали Ярилу, и озеро, на три июньских дня отдаваемое Купале. А Туровская гора, конусом возвышающаяся на противоположном берегу, языческое капище, любимое место охоты князей в глубинах вод и дебрях лесов! А Балчуг, откуда Шемяка надменно смотрел на войска Василия Темного³⁴, с младых ногтей укрепивший меня в неприятии нынешней столицы! Отечество неугасаемых светильников русской церкви и главного героя русской смуты, Галич с его тайными кладами, являющимися над городом в виде золотого корабля, с каланчами, храмами, конюшнями, страстями предков моих... В гербе же его, пожалуй, наиболее уникальном среди всех старых русских городков, присутствует только военная символика: топор, алебарда, десять стягов, кольчуга и четыре полковых барабана. Как-то очень утешал меня этот герб в пору отчаянных драк и самоутверждения.

За воспоминаниями мы, разумеется, не заметили, как гроза перекинулась далеко за реку, очертив над нами благословенную арку радуги. Мы взялись за руки, как в детстве, и, не стовариваясь, диалогом продекламировали в луговую даль:

Мракобесие. – Смерч. – Содом.

³¹ Описание герба Барыковых: В щите, имеющем серебряное поле, посредине перпендикулярно изображена красная полоса, на которой между четырьмя золотыми шестиугольными звездами положены крестообразно две серебряные шпаги, обращенные остроконечием вниз, а по сторонам на серебре поставлено по одному знамени. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нем короной и тремя страусовыми перьями. Намет на щите красный, подложенный золотом.

³² Строчка стихотворения М. Цветаевой из сборника «Лебединый стан» от 27 июля 1918 года.

³³ Мерское название Галичского озера или озера Неро.

³⁴ Балчуг – гора на северо-востоке Галича, место первого города; Дмитрий Шемяка (1420-1453), в крещении Димитрий, князь Галича-Костромского, сын Юрия Дмитриевича. Активный участник междоусобной войны. Василий II Васильевич Тёмный (1415-1462) – великий князь московский с 1425 года, в 1446 году был ослеплен Шемякой. Во время противостояния Шемяки и Темного Галич на две недели стал столицей Руси.

*Берегите Гнездо – и Дом.
Долг и верность спустив с цепи,
Человек молодой – не спи!
В воротах, как Благая весть,
Белым стражем да станет Честь.
Обведите свой дом – межгой,
Да не внидет в него – чужгой.*

И уже вместе, победно и ликующе, закончили:

*Берегите от злобы волн
Садик сына и дедов холм.
Под ударами злой судьбы –
Вьшише – прадедовы дубы!³⁵*

– А теперь чаю, чаю немедленно!

– И желательно с коньячком! – потер руки Илья, глядя на нашу вымокшую лиловизну.

– Ну, и с медом всенепременно, – подхватила я, не прощая ему молодухи из Белой. Я вообще очень ревновала всех своих кузенов – конечно, не к женам и детям, а к общей жизни духа, ведь по крови они были мои, только мои, а у них была какая-то своя жизнь. Мне же казалось, что если мы однажды соберем, соединим наше прошлое, раздробленное по отдельным личностям, совершим последнее общее усилие, то станем прекрасными новыми людьми. И никогда больше никого не будет мучить ностальгия по золотому старинному сну. А их силы растаскивали работы, заботы, дела, другие люди, иные женщины. В отместку Илья дразнил меня Бисмарком, по собственному признанию, желавшим быть невестой на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах, но все-таки именно он, он один был действительно способен на единение и полет души туда, где уже нет ни прошлого, ни будущего, и нет различия между нами и каким-нибудь «в рейтарах ротмистром» или воеводой в Хотмышске.

Через четверть часа мы уже сидели на террасе, наслаждаясь финальным действием вечного спектакля природы, как всегда смывавшего все наносное и с зелени, и с душ. Чай обжигал, и сердца бились все сильнее.

* * *

Легкость и свет, царившие в неурочное вечернее время благодаря прошедшей грозе, тихо улетали в высокое небо. Река перед нами, как и положено сцене, еще оставалась в розовой дымке, а партер террасы и ярусы леса уже медленно погружались в сумрак.

– Что бы ты хотел увидеть в этом зале? – Я погладила Илью по крупной красивой руке. Он задумался.

– Знаешь, наверное, деда. Такого, как на моей любимой фотографии. – На старом снимке сидел мальчишка в кавалерийской шинели и в фантастически-дерзко заломленной папахе, но взгляд был уже уверенный, знающий, взгляд в будущее.

– А внука не хотел бы? Ну, или кто там когда-нибудь будет.

– Нет. Внука! – Илья дернул плечом. – Внука успеется. А ты?

– Я, наверное, тоже деда.

– Каким?

³⁵ Стихотворение М. Цветаевой из сборника «Лебединый Стан» от 24 мая 1918 года.

– А таким... – Я вдруг растерялась. Может быть, вовсе не юношу с чувственным ртом, не мальчишку, играющего ладной мосинкой, а просто малыша в кепи с козырьком из итальянской соломки, в запачканном костюмчике, с подозрительно покрасневшим носиком удравшего куда-то в курятник... – Не знаю.

– Ну, раз так, то спектакль отменяется по причине... ну, скажем, опоздания актеров. Ты, наверное, еще работать будешь?

– Собиралась.

Я уже взялась за поднос, чтобы убрать посуду, как далеко на другом берегу, на самой кромке леса показались две фигуры. Та сторона была глухая и непроезжая, и я не помнила случая, чтобы оттуда кто-то появлялся. Мы оба мучительно вглядывались в полутьму, как нарочно, начавшую быстро густеть.

– Ба! Да ведь они конные! – удивился Илья.

– Ладно тебе, здесь последнюю лошадь я видела уже года три назад, да и то не в усадьбе, а в селе.

– Верхами, говорю тебе!

Мы подошли к самым перилам и даже влезли на них, чтобы получше разглядеть фигурки. Действительно они подрагивали и приплясывали, как это обычно бывает только со всадниками, однако не двигались ни к нам, ни куда-либо еще. Стало совсем темно.

– Скорее всего, скауты какие-нибудь новоявленные, – заключил Илья. – У нас в Москве их страсть как развелось.

– Да откуда здесь скауты, не столица, чай. Ладно, Бог с ними, не пропадут. Ты иди, ложись, а я все-таки посижу еще полчаса в портретной, ну, чтобы им ориентир какой-то был, ежели чего.

Мы поцеловались в стеклянных дверях гораздо нежнее родственного, и задетая Илюшиным плечом створка еще долго звенела, маняще и жалобно.

Я зажгла тусклый свет и села за неудобный столик; со стен мрачновато смотрели представители родовитых фамилий, и только сомовская девушка в голубом понимающе улыбалась и все забывала опустить глаза в книгу.

– Всё возможно, а, Лиза? – молча спросила я ее.

– Всё, Машенька. – Она, наконец, опустила глаза.

Я подвинула к себе ноутбук.

Но не успела я открыть нужный файл, как услышала странный стук внизу у террасы; этот звук был непривычный и не поддающийся мгновенному определению, как все прочие миллионы звуков, окружающих нас в повседневности. Помедлив в ожидании разгадки, но так и не обретя её, я подошла к дверям. Внизу у сиреней стояла лошадь и капризно била передней ногой по булыжнику. Рядом стоял молодой человек в мешковатом плаще, беспомощно глядя на два мои освещенных окна.

Я стиснула у горла хозяйкину шаль и шагнула в ночь.

– Добрый вечер, если не ночь. Вы из-за реки, да?

– Из-за реки? – удивленно переспросил он. – Ну, да, в общем, конечно. Извините меня, ради Бога, но я возвращался из Спас-Верховья, попал в грозу и заблудился. – Тихо, милая, сейчас, сейчас, – на мгновенье прижался он к лошадиной шее. – Мне ничего не надо, но, если у вас есть старая попона, то не могли бы вы дать ее мне? Лошадь южная, ее прикрыть бы. Я завтра верну ее вам, пошлю Любашу или сам привезу.

– Вы думаете, если здесь музей, то и попоны хранятся? Впрочем, вы поднимитесь, я сейчас принесу какую-нибудь накидку с дивана и дам вам чаю.

– Музей? – растерялся незнакомец, по голосу уж, конечно, не скаут.

Но, когда я вернулась, он все так же стоял внизу, обнимая свою неженку.

– Здесь нет обрывов поблизости? – тревожно спросил он, закрепляя старое покрывало. – А то я пушу ее сейчас...

– Какие обрывы на Плюссе³⁶? До урочища километров тридцать берегом...

– Как вы сказали, на Плюссе? А где это, чье? Разве это не Шача или Письма?

– Какие письма? Это бывшее имение Кориневских. А где ваш товарищ?

– Какой товарищ? Я выехал из Молвитина, десятник просил меня проверить старые боры под Митерево, но эта гроза...

Разговор начинал напоминать морок Ионеско³⁷. Упоминаемые названия не говорили мне ничего. Впрочем, здесь я знала деревни только по тракту да еще пару в глубине, где водятся ягоды.

– Но вы уж поднимитесь, что же стоять?

– Да-да, благодарю, всего полчаса, не больше.

Я пошла поставить чайник и, вернувшись, увидела молодого человека уже на скамье. Он сидел легко, небрежно и в то же время безумно изящно, склонив коротко стриженую голову на запястье, и была в его позе такая печаль, что у меня дрогнуло и защемило сердце. Ладно, пусть сидит, в дом всегда приходило немало странных странников, их всегда принимали, и многие потом оказывались интересными и незаурядными людьми, навсегда влюбленными в дом.

– Прошу вас, вот чай, сахар, варенье, сливки. Есть немного коньяку.

– Спасибо.

Он снял промокший пыльник и, посмотрев на коньяк с подозрением, принялся за чай, а я зажгла свечу, села напротив и, почти не стесняясь, стала рассматривать, кого мне послал Бог. Это был невысокий, но очень гармонично сложенный человек, с тонкой, как у девушки, талией, перетянутой каким-то рыжим широким ремнем с другими ремешками потоньше, газырями и петельками. На широких, но тоже очень покатых, как у женщины, плечах красовался какой-то полувоенный френч, и поскрипывали под столом высокие, выше колен, кавалерийские сапоги, правда, без шпор. Однако, ни погон, ни колодок, ни шевронов не было, как и следов от них. Тонкие пальцы с безупречно-овальными ногтями, припухшие губы, мягкая линия носа. И, если бы не странно уплывающий возраст, который мне все никак не удавалось определить, я вполне могла бы отнести его к сильно разросшемуся в последнее время племени реконструкторов. Этот, разумеется, играл в Гражданскую, но в белого или красного – я так и не поняла. По кости он был явно первый, однако одежда... И все-таки – сколько ему? В неверном пламени свечи он выглядел то совсем юнцом, то взрослым, немало повидавшим уже мужчиной.

Незнакомец беззвучно поставил чашку на блюдце.

– Благодарю вас, простите, не знаю вашего имени-отчества...

– Маша. – Он удивленно вскинул и без того улетающие вверх брови. – Мария Николаевна, – поспешно поправила я. – А вы...

– Павел Петрович. Но поскольку я вернулся не так давно, а здесь все столь значительно переменялось, то, может быть, вам больше скажет то, что я – третий сын Александры Ивановны...

– Барыковой... – прошептала я.

– Так вы ее знаете, конечно, – обрадовался он. – Ее в уезде все знают. Еще раз спасибо, я, пожалуй, поеду, Шельма согрелась. Сейчас немного наметом и все будет окончательно в порядке. – Он встал и наклонился, чтобы поцеловать мне руку.

В дверях появился Илья.

³⁶ Река в Псковской и Ленинградской области РСФСР, правый приток р. Нарвы.

³⁷ Эжен Ионеско(1909-1994), французский драматург, один из основоположников эстетического течения абсурдизма (театра абсурда).

– С кем полуночищаем, сестренка? – довольно ревниво поинтересовался он. В этот раз сладострастница Барб, видно, не соизволила добраться до своего излюбленного алькова.

– Это... – едва разлепила губы я, совершенно забыв, что негоже даме представлять мужчину мужчине. Но Павел Петрович уже огибал стол, протягивая Илье руку.

– Павел Соболев. Рад познакомиться.

Илья в смятении застыл, и снова задетое его плечом стекло пронзительно звякнуло.

– Маша, послушай, что за шутки?!

Я сидела, не поднимая головы.

– Почему же про девку из Белой и Наденьку – не шутки, про детей – тоже, а тут...? Это правда он, отец Ляли.

Павел Петрович повернул ко мне сразу ставшее юным лицо.

– Так вы знаете, что у меня родилась дочь? Как приятно! Но как, откуда... – Он несколько смешался. Смешалась и я. Быстро прикинув сроки, я с тоскливым ужасом поняла, что жить ему остается едва ли полгода. – Впрочем, простите мое нескромное любопытство. Я должен ехать, хорошо бы добраться до Готовцева к рассвету. Вы только укажите мне направление на Пронино, потому что здешние места оказались мне как-то неведомы. – И привычным жестом поправил ремень.

Неужели он сейчас уедет, уедет навсегда, моя мечта, путеводная звезда моей юности, тот, в чей портрет в стеклянной рамке «souvenir» я смотрелась, как в зеркало, чьи стершиеся письма читала, закапывая слезами, кто печально и в то же время беспечно до сих пор смотрит на меня со стены спальни? Уедет, чтобы умереть в двадцать девять, младше меня нынешней? Уедет, унося все тайны любви, востока и войны?

– А знаете, Павел Петрович, поеду-ка и я с вами. У меня есть время, и я с удовольствием увижусь с Ольгой Ивановной и с Александрой Ивановной, а если повезет, – я бросила вызывающий взгляд на Илью, – то и с Всеволодом Ивановичем.

– Да-да, дядя как раз собирался заехать определиться с землей. Кажется, он в этом году не хочет брать наделов. А обе маменьки будут очень рады. Сейчас так мало гостей...

– Тогда подождите, прошу вас, несколько минут, я только переоденусь. – Павел снова бросил на меня странный взгляд, и я подумала, что про переодевание сказала, наверное, зря. Господи, как мы отвыкли от приличного поведения! Я бросилась к себе, лихорадочно придумывая, как бы одеться так, чтобы не вызвать лишних подозрений. Хорошо бы длинную юбку и глухую блузочку, но у меня ведь, кроме этого сарафанчика, одни джинсы. Ничего, позаимствую у хозяйки, она поймет...

Но дверь в хозяйкину комнату мне преградил Илья. Он схватил меня за плечи и встряхнул, как маленькую.

– Ты с ума сошла! Куда ты собралась? В преисподнюю? Я не пущу тебя! Вы в этом поместье совсем... заигрались!

И вместо того, чтобы попытаться разумно поговорить с ним, я взбеленилась. Темная густая наша кровь уже колола кончики пальцев и мутила сознание.

– Да тебе просто завидно! – взвизгнула я. – Я поеду, поеду, хоть за лошадью побегу! Пусти, а то я за себя не отвечаю! – Илье в детстве тоже доставалось от моих ногтей и зубов; к тому же, в драках за волосы, я теряла сознание, но противника не отпускала никогда.

Тогда он просто положил мне ладонь на голову.

– Машенька, ну, опомнись, ну, подумай ты хорошенько! Сейчас ты с ним выедешь – да и как выедешь-то? Здесь, как я понимаю, нет ни дрожек, ни коляски! – и куда? Куда вы поедете – куда глаза глядят? А исчезни он среди незнакомого леса, – а ведь исчезнет! – что ты будешь делать? Как возвращаться?

– А мы сначала лесом через Алибьево, а потом сразу на дурцевскую церковь, и там уже близко, ни болот, ни боров...

– Как же! Под Барчагой там такая болотина! Да и Шельма его – кобыла избалованная донельзя, она вас двоих дай Бог верст десять провезет и встанет, помяни мои слова, встанет! – Но тут Илья быстро оборвал сам себя. – Хорошо, доедете вы, но дальше-то что?! Они сами с ума сойдут – или тебя в дом умалишенных упрячут!

– Твоего прадеда поди, попробуй, сведи с ума! Да и мою прабабку тоже! Ну, пусть, ждет же ведь человек!

– А я? Что я буду здесь делать без тебя?

– Ничего. Отдыхай, противным экскурсантам говори, что музей не работает, хороших – пускай посмотреть, да перейди спать в столовую – не то Барб тебя ночами замучает.

– Но ты вернешься? Обещай, что вернешься!

– Конечно, Илюшенька, обещаю. Ты только каждый закат выходи на террасу и жди меня. Жди по-настоящему, а то ведь можно и не вернуться... – На секунду мне стало очень страшно, но отступить – нельзя. Под окном уже требовательно ржала Шельма.

Я натянула какое-то длинное платье, оставшееся со времен маскарадов двадцатилетней давности, завернулась в шаль, и теперь выдавали меня только дешевые вьетнамки. В последний момент я схватила музейный баул, куда запихнула ноутбук, и вышла с кухонного крыльца.

* * *

Мы ехали в самый мрачный и страшный час ночи, когда дышит человеку в затылок древний хаос, когда нет преград между ним и нами, а потому чувствуешь себя существом без кожи, доступным всему и перед всем беззащитным. Уже прошло удивление Павлика перед тем, что я не взяла свою лошадь и не попросила заложить брички, миновал злой каприз отдохнувшей Шельмы, не желавшей везти двоих, равно как и улетел приречным туманом мой ужас, когда я первый раз обняла за талию призрака. Талия оказалась горячей, упругой, едва покачивающейся в такт езде, как и полагается талии кавалериста. Разумеется, я должна была бы сесть впереди, но, помня, что Павлу Петровичу и без того приписывалось слишком много несуществующих оболещений, скромно попросилась на круп.

Единственная, ведущая не на шоссе дорога, которую я знала, шла по другой стороне реки в направлении, кажется, Нарвы. Мы двинулись по ней, ориентируясь по водным бликам и белевшим справа пышным пирамидам болиголова. Начать разговор мне было неловко и страшно, а Павлик, признавшись, что устал за эти дни смертельно и что на него все чаще накатывают приступы безотчетной тоски, начавшиеся еще в Туркестане, извинился и ехал молча. Шельма, как и предсказывал Илья, скоро заупрямилась, и только хозяйские поцелуи в ухо сдвигали ее с места.

Светало; я поняла, что к рассвету до Готовцева мы не добрались. Воздух становился мутнее и острее – видимо, действительно приближалась и обещанная Ильей болотина. Закраснелись вокруг мухоморы, загудели лесные звуки, и скоро в них ворвался глухой звон колоколец. Тропка вышла на изумрудную луговину и круто повернула, огибая болото, выглядывшее огромной бархатной поляной, на которой в тихие лунные ночи собираются повозиться и поваляться юные лешачки. Разбросанные тут и там коврики крошечных анютиных глазок, лиловых и белых, действительно были немного примяты, зато стройные свечи ночной красавицы издавали одуряющий запах. Сквозь подлесок мелькнули пежины коров. К нам навстречу, смачно скусывая сочную траву и позванивая колокольцами, двигалось целое стадо. Крепкий бычок с белым кудрявым лбом и сине-черными испанскими глазами, воинственно направился прямо к нам. За ним показался и мальчишка в огромной зимней шапке и зипуне на рубаху. За ним волочился длиннющий кнут. Я смотрела, не веря своим глазам.

– Эх, дьяволы крученые! – и мальчик молодежато щелкнул кнутом, вызвав недовольство на морде бычка.

– Скажи на милость, молодой человек, правильно ли мы на Готовцево едем?

– А то! – важно ответил пастушонок. – Сейчас просека пойдет по леву руку, там взгорок, направо свертка, а уж оттуда на колокольню так и держите. А вы чалеевские, что ль?

Я вздрогнула от имени ворога, но Павлик только усмехнулся.

– Барыковские.

– Тогда лучше бором, короче.

Мальчик говорил с фантастическим акцентом, но гораздо более по-человечески, чем нынешние.

Мы въехали в бор. Совсем посветлело, и тихая радость чистого леса, лесной благодати наполнила меня. Розово-золотой воздух, игра света и тени, разноцветные мхи, веселый треск сучков под копытами...

Павлик провел рукой по начинавшимся залысинкам.

– Сосновому бору мало что, кроме человека и пожара, страшно. А ведь, бывало, от нас верст на сто к Паломе из лесу не выйдешь. Только вот железка, а дальше опять почти до Урала зеленое море. Красной сосны оставалось вволю, березы петровской... А теперь рубят и рубят, мерзавцы, и плевали они на мои объезды, штрафы. Бабушка говорила, что и после реформы такого не бывало, а ведь тогда страшный развал шел.

Я смотрела на первозданный бор и вспоминала чудовищные порубки спустя сто лет. Обесчещенный, изнасилованный лес, загаженный, как врагами взятый дом, неумолчный вой бензопил ночами и эшелоны стволов за границу.

– А дядька все о музеях ратует, панталончики кружевные по заброшенным усадьбам собирает, когда надо вот о чем писать, о том, что состояние леса в стране есть оценка уровня культуры, духа человека. Не могу. Я сюда и пошел после всех восточных ужасов, чтобы душа очистилась, а тут...

Я прикусила губы и только тихо погладила горячее плечо.

Так молча мы и добрались до Готовцева. Пересекая Костромской тракт, честно говоря, мало изменившийся, я еще поймала себя на трусливой мысли: спрыгнуть с лошади и пешком рвануть к Галичу, где примут меня мои родственники по бабке. Но впереди уже блестела колокольня.

– Знаете, Павел Петрович, я лучше сейчас слезу и просто рядом пойду, а то неудобно как-то.

Он невесело улыбнулся.

– Жена с дочкой в Михайловском, а дома... На меня давно уже махнули рукой. Я, знаете ли, так... обсеочек в поле. Матушка и так-то сурова, а я... – Он спрыгнул с седла и помог мне спешиться. Какое-то время мы стояли друг против друга, одинаковые ростом, сероглазые, с ямочками на подбородках, с вечной печалью в линиях губ. Как, быть может, не хватало нам третьего, такого же стройного мальчика в светло-лиловом тегиле... – К тому же, братья мои почти все люди серьезные, сказочный карьер при нынешней власти сделали, и тем мне укора еще больше. А у меня тоска, – в ласковом баритоне вдруг прозвенели почти слезы. – Тоска, понимаете? Я ничего не хочу, все бессмысленно, я живу по инерции, так... потому что надо, все живут, ну, и мне, вроде бы надо. А на самом деле не надо! – Последние слова он почти выкрикнул, лошадь крупно всей кожей вздрогнула и испуганно всхрапнула. – Прости, милая. И вы простите, на нас с ней после Курширмата³⁸ находит. Вы только маменькам ничего не говорите.

И столько горького и столько мальчишеского было в этих словах, что я села на обочине в пахучую неведомую мне траву и расплакалась. Я редела от жалости, от невозможности помочь, от того, что сама слишком часто чувствовала то же самое, от того, наконец, что не могла сейчас

³⁸ Поселок в Туркмении.

просто крепко обнять его, прижав как маленького, к груди и убаюкать под долгий рассказ, что было потом. И он, затихая, узнал бы, что ничего не происходило впустую, что во всем был смысл, и ничто не пропало втуне – и что он любим, и горячие молитвы за него возносятся в соборах России и Европы...

Он испугался моих слез и растерялся. Ему и в голову не могло прийти, что я плачу о нем. И, пытаясь облегчить его положение, я быстро проговорила что-то о потерянном имении и муже, якобы сгинувшем на фронтах недавней войны. Он помог мне встать, взял Шельму в повод, и мы двинулись дальше пешком. Кобыла, в отличие от хозяина, почуяв во мне соперницу, зло косилась и пыталась задеть крупом...

Несмотря на утро, ванильно пахло пылью, и молчали нищие избы. Мы миновали оба пруда, квадратный и круглый, обогнули церковную ограду и свернули направо в парк. Среди зелени на мгновение мелькнула не то башенка, не то конек, и я остановилась. Неужели сейчас я увижу нашу усадьбу, милый дом, родовое гнездо?! Сердце билось отчаянно, и, если бы не Павлик, я встала бы на колени и благодарила бы Бога. Но я только обняла первое попавшееся дерево и прикрыла на миг глаза.

Готовцево! Потерянный рай четырех поколений, сказочная обитель, исток, пуповина. Я испытывала то редкое состояние, когда связь между тобой и миром не нуждается в слове, когда мы переходим друг в друга свободно, когда времени больше действительно нет. Я была одновременно и земляничкой, подаваемой в этот момент на балконе, и серебряной ложкой, ее берущей, лесом, ее взрастившим, и короной, чьи сливки лились в тарелку, и сухой невысокой женщиной, их разливавшей, и ступенями, и небом – и собой, в такие мгновения единственно настоящей.

– Готовцево! – прошептала я, и оно прозвучало, как имя возлюбленного. Но в тот же миг на меня налетел горячий вихрь, заканчивающийся холодной и влажной точкой. – Султан! – крикнули мы с Павликом одновременно.

Вихрь опал, скользнул шелком по ногам и превратился в крапчатого лаверака³⁹, застывшего передними лапами на ремне Павлика. Лицо последнего выражало, впрочем, не радость, а, скорее, растерянность.

– Вы знаете, как зовут мою собаку?

– О, да! То есть, нет, конечно, но у меня дома тоже сеттер и... тоже Султан, – малоправдоподобно соврала я. Впрочем, здесь меня было не поймать, поскольку сеттер у меня действительно был, хотя и ирландский, и о сеттерах я знала всё. Как жаль, что в этот раз я не взяла его! Хотя ревнивые кобели непременно повздорили бы друг с другом. Вот, если бы у меня была сука, как в знаменитой новелле Мериме⁴⁰, понесшая от Цербера!

– Пойдемте же, мы как раз к завтраку, – улыбнулся Павлик.

Я сделала еще несколько шагов. От регулярного сада, какому в дворянских усадьбах положено играть роль перехода от дома к парку романтическому, давно ничего не осталось. Парк, ставший лесом, подходил почти вплотную к дому, и только роскошные купы сиреней держали последнюю оборону. Они лиловыми парусами уносили дом, как корабль, плывущий по зеленым волнам леса в небытие. На первый взгляд было невозможно даже определить его размеры, ибо состоял он не из фронтона и флигелей, как обычно, а из бесчисленного количества подъездов, крылец, балконов, мезонинов, словно кто-то складывал его, забавляясь нелепостью сочетаний. Отчетливо была видна только крытая новой черепицей голубятня – шестиугольная башенка на самом вершине с двумя разными оконцами – да просторная, на каменных

³⁹ Иное название английского сеттера, полученное по картинам художника Э. Лаверака (1815-1877), любившего изображать на своих картинах собак этой породы.

⁴⁰ Имеется в виду новелла Проспера Мериме (1803-1870) «Федерико».

подвалах веранда внизу, где сейчас завтракали. При виде этого сумбура поневоле верилось в историю создания столь странного сооружения.

Поначалу, перебравшись из Тульского Венева в губернию Костромскую, Иван Иванович построил большой традиционный дом с бельведером на границе с владениями ворога, чтобы наследники того могли услаждать себя зрелищем торжества нового хозяина земель. Однако прожил он там недолго, ибо его выжили черти. Более того, черти завелись в доме с бельведером в день его освящения, проведенного, разумеется, с размахом и полной торжественностью. Какое-то время их терпели, потом попытались бороться, но безуспешно. Дворня роптала, Иван Иванович выскакивал ночами во двор в одном нижнем белье, батюшка приезжал через день. Толку, однако, не было никакого; черти блазили со всем большим упоением. И тогда Иван Иванович отправил вечно кашляющего управляющего Климентия, дабы тот в лепешку разбился, но перевез сюда один из вневских флигелей, проверенный предками и временем. Что привез Климентий неведомо, но что-то все-таки довел, и к старинному родовому флигелю стали прилепляться всевозможные архитектурные изыски сначала Ивана Ивановича, а после и племянника его, Ивана Михайловича, поскольку, опасаясь слабости собственного сына в отношении чертячьего племени, Иван Иванович отписал Новое Готовцево не ему, а дитяти брата Михайлы.

Словом, дом носил легкий отпечаток безумия и нечистой силы, сохранившийся навсегда. И все плотнее окружавший его лес был тому явным доказательством. В начале тридцатых, когда последний Барыков покинул его, лес запустил в дом своего представителя в образе лесника, а потом и вовсе поглотил руины, вернув имение первоначальным владельцам – чертям и лешим. И только верные сиреневые рыцари по сей день не смыкают глаз, храня последний оплот – руины фундамента, заросшие самой что ни на есть дьявольской травой – вербишником.

Но люди, пившие чай на веранде, еще не знали финала. Да и был ли это – финал?

Я шла под взглядами четырех пар глаз, как на эшафот.

– Nous avons l'honneur de vous féliciter à l'occasion de votre heureuse arrivée,⁴¹ – медленно и насмешливо, с явной дворянской гнусавинкой произнесла дама в глухом платье с дорогими кружевами на запястьях и шее. Что-то очень знакомое послышалось мне в сочетаниях незнаемого французского. Кажется, именно этой сакраментальной французской фразой в Смольном было принято приветствовать высочайших особ... Значит, это – Александра Ивановна.

Перецеловавшись по-старинному в руку с обеими дамами и по-английски поздоровавшись с бородатым господином, Павлик клюнул в щеку и служанку, глядевшую на него явно более тепло, чем дамы за столом. Была она худая, рябая, но темные глаза смотрели умно и проницательно.

– Одиннадцатый час. Опять из-за твоей безалаберности, Павел, мы не сможем начать межевание, – недовольным тоном вступил господин, ероша черную с неровными плешинами седины бороду, длинную, как у Ивана Грозного. Казалось, что этот сухой и властный голос я слышала еще вчера – только он был смягчен... чем? Временем? Природой? Возрастом?

– Прости, дядя, но сначала позволь тебе представить: Мария Николаевна... – Он запнулся, а я торопливо вспоминала какую-нибудь местную фамилию.

– Мансурова. Павел Петрович заблудился и вышел к Улогу, это бывшее поместье Кориневских, – спешила я, путая правду с вымыслом и пытаюсь избавиться от последующих распросов. – И я решила проводить его во избежание новых ошибок, и посмотреть Готовцево, о котором много рассказывала мне покойная бабушка...

– Очень приятно, – уже чуть менее сухим, но изрядно похожим на голос брата ответила черноволосая дама на этот раз по-русски. Она мельком посмотрела на меня в лорнетку, и мне

⁴¹ Нам выпала честь приветствовать Вас по случаю Вашего благополучного прибытия (фр.)

стало ясно, что такое чучело, как я, ей совершенно неинтересно. Впрочем, по ее лицу было видно, что от ее непутового сына можно было ожидать и чего-нибудь похуже.

Зато вторая старушка, очень похожая на первую, но в буйно вышитом шелками (откуда этот взмах полупрозрачных крылышек – и куда?) летнем платье с длиннющим треном⁴², разулыбалась и пригласила к столу.

– Улог, Улог... – забормотала она, – что-то не припомню, это где же это, милостивая государыня? И как вас туда занесло, ведь Мансуровы пензенские, да и о Кориневских отродясь не слышала. – Сомнения, правда, не мешали ей уже наливать мне чаю и сливок. Сливочник, который на моей памяти был иссечен временем, почти стершим чайные розы и оставившим на фарфоре темные старческие пятна, сиял голубоватой белизной, еще более оттененной цветом роз, бывших лишь на тон ярче сливок. Оказывается, к нему были и чашки. Я с трудом проглотила подступивший к горлу комок.

⁴² Шлейф у длинного дамского платья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.